

- ФЕЛИКС РОЗИНЕР
Повесть
- Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МИЛОСЛАВСКИЙ
Рассказы
- М. КАГАНСКАЯ, А. ВОРОНЕЛЬ
Иерусалимские размышления
- А. ЗИНОВЬЕВ, Ю. МЕКЛЕР
Русский вопрос
- НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН
Еще одно открытие Америки

22 - 10

1979

10

ИЕРУСАЛИМ
—
МОСКВА

ДВАДЦАТЬ ДВА

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

10

ТЕЛЬ-АВИВ

декабрь
1979

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЛИТЕРАТУРА

ФЕЛИКС РОЗИНЕР. В обнимку с Хроносом	3
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. Стихотворения	45
ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. Левитация – это всего лишь парение, а не то, чтобы лети куда хочешь	48
АЛЕКСАНДР ВЕРНИК. Стихотворения.	62
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. Два рассказа	67
АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. О значении одного слова (глава из романа)	85
<i>ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...</i> ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. К вопросу о способе существования.	91

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ГРИГОРИЙ ФРЕЙМАН. Оказывается, я еврей (прод.)	97
--	----

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Страсти по музею	105
АЛЕКСАНДР ВОРОНГЕЛЬ. Библейский реализм и наше ханжество.	122

РУССКИЙ ВОПРОС

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. О Сталине и сталинизме	128
ЮРИЙ М. МЕКЛЕР. Наша живучесть.	137

ЗАПАД–ВОСТОК

ИСРАЭЛЬ ШАМИР. Похождения акачана Ионички Зайса в Японии (гл. 1)	145
---	-----

КУЛЬТУРА

НИНА ВОРОНГЕЛЬ. В преддверии бабьего царства	165
ИОСИФ ЛЕЩИНСКИЙ. Мемуары Ефима Ладыженского	185
ЕФИМ ЛАДЫЖЕНСКИЙ. В России я был больше евреем....	190

ЛЮДИ И КНИГИ

ГЕРБЕРТ ВАЙНЕР. Встречи со Штайнзальцем.	198
АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. Суть Талмуда.	202

МЫ И ВРЕМЯ

НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН. Еще одно открытие Америки	208
---	-----

ПИСЬМА

На последней странице обложки:

*Е. Ладыженский. "Гедали – основатель несбыточного Интернационала"
(из иллюстраций к Бабелю, восстановленных художником в Израиле).*

Началась эта история почти ...дцать лет назад. Точнее, в декабре 1...6 года, хотя, признаться, мне еще позавчера казалось, что начало было чуть позднее, ближе к исходу той зимы... Но, впрочем, теперь, в мае 1...8-го, какое это имеет значение? С тех пор уже столько забылось! У меня такое чувство, что не месяцы — годы столкнулись и вошли один в другой, спрессовались в осыпающийся неровный кубик, словно это кусок халвы, в котором не найдешь и крошки, сохранившей в целостности цвет и форму подсолнечного зерна — того, что было когда-то прожитым днем, одним из тысяч размолотых теперь, и сдавленных, и помещенных в коробку памяти. Ни цвета прежнего, ни прежней формы — но прежние вкус и запах, то же ненасытное желание вновь и вновь обращаться к ним, к тем ушедшим дням, будто я и вправду щиплю от халвы по куску и не могу остановиться. И это при том, что по натуре я не из тех, кто склонен погружаться в прошлое и вновь и вновь переживать былые времена, копаться в несбывшемся и представлять воочию события, реальность которых дав-

Феликс Розинер

Ф. Розинер (р. 1936) — профессиональный писатель, автор семи книг (беллетризованные биографии Грига, Прокофьева и др.), в Израиле с 1978 г.

В ОБНИМКУ С ХРОНОСОМ

Copyright автора

но и навсегда утеряна. Я, повторяю, не из числа таких людей и склонен быстро забывать прошедшее, потому что нетерпелив, с сегодняшнего вечера жду послезавтрашнего утра, но лишь забрезжит оно, как тянет меня убежать подальше — от него или же от себя, потому что я слишком быстро надоедаю себе, вот и влечет меня, снова и снова влечет в послезавтра. Все это так; и если так, то почему же я через две... два...-дцать лет обращаюсь теперь к тому декабрю, к той невероятной, загадочной, в *высшей степени странной истории*, что началась с одного прочитанного мною рассказа? Думая об этом непрестанно в течение последних двух недель, я, кажется, нашел причину моему нынешнему, столь несвойственному мне и столь непреодолимому желанию возвратиться назад. Все дело в том, что тогда, почти тридцать лет назад, я хотел по горячим следам написать об этой странной истории. Но не написал. Потом я не однажды собирался вернуться к ней, и не раз, перебирая бумаги, я наткнулся на пометки, сделанные в разное время: "РТ и Мария" — "В. Некр. и Мария" — "Мария, Л-д" — "Разыскать РТ: рассказ о Марии". Вероятно, сразу же, еще в те дни — а было это, когда я только вступал на колдобистую дорожку литератора-профессионала, — увиделся мне в необычной истории будто готовый сюжет: на вот, бери и пиши. Но ни тогда, ни позже, все прошедшие сорок лет моей литературной деятельности, сколько я ни отмечал в своих планах этот, говоря высокопарно, *замысел*, так и не пришлось мне взяться за его реализацию. Мешали, конечно, другие *замыслы*, и прежде всего, как оно и бывает, те, от которых зависел заработок; мешала природная лень, хитро маскировавшаяся за вопросами "а зачем?" — "а будет ли интересно?" — "а не забылось ли все?" — и иными, подобными им, сомнениями. Да мало ли что мешало! И среди всего — еще и то, что сюжет мой оказался неразвившимся, брошенным в самом начале, в завязке событий, а для доброго сюжета нужна, как известно, фабула — ход и смена ситуаций, цепь зависимых положений, — но этого не было. Не было и никогда уже не будет, но жизнь доиграла свой необычный сюжет не менее необычно: герои, разойдясь при обстоятельствах начальных и просуществовав вне своего сюжета долгие двенадцать лет, внезапно приходят к финалу. Конец, заключение, точка. Был пролог, и было молчание неизвестности, и вдруг — эпилог. Жизнь ли сама, помимо меня, подстроила так? Или подстраивал я, надеясь, что эпилог состоится, и потому-то вовсе не случайно, роясь недавно в старых записях, снова

наткнулся на имя Мария и телефонный номер, который, наверно, давно изменился? Так или иначе, вдруг стало мне понятно, что если телефон ответит, то я смогу обо всем написать. И вот пишу... Но, раздумывая об этом — раздумывая, почему пишу сейчас, а раньше не мог, — я склонен предположить, что мне мешала — а придя к эпилогу, мешать перестала — сама непроясненность странных событий, вернее, таинственность связи между событиями и моими мыслями, когда, невысказанные и оставшиеся моей внутренней принадлежностью, а главное, вовсе не призванные к тому, чтобы воплотиться в какое-либо деяние, они же, мои мысли, к этим событиям и привели. Такая метафизическая сторона моего сюжета связывала мне руки, поскольку по природе своей я достаточно определен и стремлюсь найти зерно ratio в том, что кажется иррациональным. Даже и сейчас, когда я взялся, наконец, за давний сюжет, мне потребовалось свести это иррациональное к возможному минимуму, для чего я отправился в Ленинскую библиотеку с намерением найти и прочесть тот рассказ, с которого все началось. Я решил, что коль скоро все в сюжете необъяснимо, то форма изложения должна быть простой и ясной, и нужно начинать с самого начала, не запутывая хода событий всякого рода приемчиками... Казалось бы, что проще? Но реальность и тут принялась выгораживать невидимыми стенками и вытеснять куда-то в другое пространство то, что относилось к этим некогда происшедшим событиям. Все в них с самого начала погружено в двусмысленную загадочность, и додумай, пойми я это до конца, мне не пришлось бы удивляться тому вполне реальному факту, что в библиотеке рассказ обнаружить не удалось.

Разумеется, зная имя автора, нетрудно отыскать каталожный ящик, найти нужные карточки, выписать шифры и сделать заказ, — нетрудно, но в данном случае это оказывалось невозможным, хотя я и допускал, что вдруг, что все-таки найду... Но, конечно же, этих карточек я не нашел, потому что искал я имя Виктора Некрасова, а писатель Виктор Некрасов теперь эмигрант, лишенный гражданства, и книги его изъяты и, может быть, сожжены и развеяны по ветру, и ветер унес их пепел и гарь далеко-далеко, туда, где писатель Виктор Некрасов начинался — в окопах Сталинграда, — туда, где нет окопов, и нет Сталинграда, но есть обмелевшая Волга и эта угрожающе-воинственная великанша Родина-мать, подъявшая огромный полый меч, который день и ночь гудит и гудит на ветру, черным пеплом развеявшем по просторам роди-

ны книги некогда тут воевавшего Виктора Некрасова, в дальнейшем писателя, а затем эмигранта, лишившегося гражданства.

Увидев, что нет в каталоге такого писателя, я, хотя и не удивился, но почувствовал беспокойство, глупое и пока что еще ни на чем не основанное, потому что реальность, ставшая для Некрасова его эмигрантским нынешним днем, для меня еще не наступила, и беспокоиться, вроде, было не о чем, но я, чтобы как-то почувствовать под ногами почву — землю, если хотите, матери-родины, пошел по рядам каталога чуть дальше и отыскивал другой ящичек с карточками. Ну да, с моими карточками, вот они, их, не без тщеславия отметил я, не так-то мало, — совсем недавно, месяц назад, к ним присоединилась последняя, восьмая, с названием книги о Великом Композиторе, который, смешно упоминать, но тоже был эмигрант, а потом почему-то вернулся, чтобы узнать, как умеет любимая родина и возвеличить, и растоптать, и вновь возвеличить, что, пусть даже и после смерти, однако внушает надежды. Я смотрел на свои карточки и думал, сколько им еще здесь стоять? Обращенный по неистребимому свойству своей природы в день послезавтрашний, я слышал гул непрерывного ровного ветра, входящего в полость меча, поднятого над курганом, и видел, как пепел моих незадачливых книжек несется над степью и дальше, в пустыню, и балетный оркестрик под палочку Юрия Файера, слепого и грузного, с отпавшей нижней губой, по которой сочится старческая слюна, лихо отыгрывает галоп из прокофьевской “Золушки”.

Передернув плечами и стряхнув тем самым прах грядущего пепла, я поспешил возвратиться к тому подобию *ratio*, за которое держусь так страстно все последние месяцы. Что же, рассуждал я, книг В. Некрасова нет, и этого следовало ожидать. Но мне и не обязательно его книги были нужны, я далеко не уверен, перепечатывался ли этот рассказ после того, как был он опубликован в РТ. И, следовательно, остается пойти в каталог периодики и отыскать в нем карточку журнала РТ, заказать комплект за... — тут-то я и попытался припомнить, когда же именно все происходило?

Очень просто, сказал я себе. Работу в институте я бросил весной 1769 года, ушел в марте в отпуск, писал тогда первые главы своей первой книги, а потом, в апреле, уволился, чтобы стать свободным (ах, слово какое!) художником и отдаться навечно литературе. Незадолго до увольнения я то и дело катал в Ленин-

град, где на пиратском судне, пришвартованном к стенке корабельного завода, ставили астролябию, которую я изобрел, и время от времени мне нужно было следить за ходом работ. Тогда-то все и происходило, и, помнится, я говорил Марии, что скоро перестану ездить сюда, в Ленинград, поэтому встречи со мной ее ни к чему не обяжут, я уеду, и тем все кончится. Так оно и случилось. В связи с этим думается мне теперь, что при знакомствах с девушками я всегда был большим идиотом, так как упускал из виду, что в отношениях с ними необходимы, хотя бы на первых порах, туман, расплывчатость очертаний, недосказанность, знаки вопроса — то, что в искусствоведении стало сегодня все чаще обозначаться термином *non finito*. И еще я думаю, что телефон спустя тридцать лет ответил только потому, что, как в искусстве *non finito* — прекрасное средство воздействия на эмоции, так и в живых человеческих судьбах оно, *non finito*, тревожит нас, и томит, и побуждает стремиться к концу, к завершенности. А тогда я Марии с самого начала сказал: не будет ничего, и за отсутствием видимой фабулы мы расстались. Теперь же, рискуя запутаться, готов я предположить, что сказать после первых свиданий “ничего не будет” — это значит положить всему такой конец, в котором будет сидеть томящее *non finito*, с сатанинской ухмылкой терзая душу...

Вызвав в памяти весну 1967 года, но помня, какой стоял жесточайший мороз, я вывел, что от марта мне надо вернуться в февраль или в январь и, следовательно, стоит пересмотреть номера РТ за начало этого года. Довольный работой своей услужливой памяти, я обратился к ящичкам периодики и перебрал одну за другой журнальные карточки от “Рентгенотерапии” до “Русского языка”. Среди них РТ не было, что вовсе меня не обескуражило. Не было, догадался я, потому, что РТ — аббревиатура. Я помнил эти две огромные буквы на броских обложках журнала, и когда его расхватывали в киосках, то говорилось и слышалось так: “Эрте”, — будто что-то французистое. “У вас есть Эрте?” — “Мне дайте Эрте.” — “Эрте кончился.” Понятное дело, РТ — это “Радио, телевидение” или “Радио и телевидение”, и разговорное “Эрте” никак не могло быть основой поисков журнала, мне следовало это сообразить сразу же и обратиться к карточкам на “РА...”

Их было много, я просмотрел их от “Радио” до “Растениеводства” и ничего не обнаружил. Ну, разумеется, сказал я себе, разу-

меется! Не было ничего, ведь все выстраивалось на иррациональном, значит, РТ не существовало, и не было рассказа *с историей в высшей степени странной*, и не было В. Некрасова, и не было меня, Марии, Ленинграда, Сталинграда — была ЭПОХА, ползущая ЧЕРЕПАХА, утешающий прошлое ТАНК.

В отделе библиографии пожилая, худая до жилочек женщина сильно волнуется, она отчаивается и опускает руки, — она очень хочет помочь мне! — а я, сколько могу, ее успокаиваю, к тому все сводя, что, может быть, что-то напутал, и не было никогда такого журнала, потому-то он и не отражен ни в одном из тех многочисленных справочников, которые старая библиотекарьша (ее год рождения 1369-й) раскрывает и закрывает нервными пальцами. Выхожу из библиотеки, стою под черной колоннадой и переживаю дождь. В марте тут, на этих ступенях, была демонстрация женщин-евреек. Я стою под колоннами, смотрю на пустую площадку и присоединяю свой гневный голос протеста к смелым женщинам-демонстранткам. “Верните нам нашу прошлую родину!” — кричат они, и я с энтузиазмом и решительностью поддерживаю их. “Верните мне мое прошлое!” — кричу я. “Куда вы девали РТ и все остальное?!” Женщин хватают, заталкивают в машины, увозят, площадка пуста, идет дождь. Если я почему-либо начал кричать, то кричу лишь глупости и чушь, потому что кричать не умею. И говорить не умею. И писать не умею, глупость и чушь все, что я говорю и пишу; в нашем любимом писательском деле лучше всего удастся молчать, но и этого я не умею как следует, иначе б не брался за сюжет, в котором пролог, эпилог, и большая дыра посередине.

У меня еще остается надежда. Краем уха я однажды услышал, что человек — положим, Павел Петрович, — с которым не раз у меня бывали деловые редакционные встречи, некогда имел прямое отношение к РТ. Прихватив с собой, чтобы вручить ему, свою новую книгу про жизнь, триумф, страдания и смерть Великого Композитора, я направляюсь в редакцию к Павлу Петровичу. Все, что мы говорим о незабвенных недолгих годах того странного времени, когда кое-что было можно несколько больше, чем было можно прежде, и примерно на столько же больше, чем стало можно теперь, о том почти лепешечной, блинчатой толщины промежутке времени меж *прежде* и *теперь*, когда мы думали о послезавтра много лучше, чем о позавчера, и думали, что имели если не все, то хоть кое-какие основания думать о послезавтра

именно так, все это, оставшееся, как запах и вкус, но не цвет и не форма того незабвенного промежутка, уже на исходе его тонюсенькой толщины, на самой периферии ее, в миллимикроне от наступившего вскоре, возможно, уже через миллисекунду прихода теперь, поползшего, как ТАНК в Синае 1967-го или в Праге 1968-го, — чуть-чуть позади, в исходе 1966-го отразилось все, как теперь преотчливо видно, на судьбе РТ, возникнувшего и исчезнувшего, будто его и не было никогда. Павел Петрович рассказывает, говоря о странных временах, а я пытаюсь сцепить — и я сцепляю скрепки, взятые со стола, зацепляю одну за другую, — те дни и годы и эти, и что-то такое в этой повисшей, провисшей цепочке высмотреть очень свое, очень личное, очень интимное, то есть равно далекое как от Синая, так и от Праги, вроде того, что я, как нарочно, все в своей жизни начал менять с 1967-го, и с той-то поры, когда стало можно значительно меньше, мне начинало хотеться значительно большего, и я стал свободным (прекрасное слово!) художником, а потом стал свободным (чудесное слово!) любовником, а потом стал свободным (великое слово!) гражданином, который все очень свое, очень личное, очень интимное, очень далекое от Синая обратил неожиданно так, что уже до Синая как будто рукой подать, особенно когда из непосредственной его близости пишет мне сын, который на исходе субботы, в начале пятого, 11 марта, вышел из кибуца Мааган-Михаэль, где провел два дня на экскурсии в птичьем заповеднике, вышел на шоссе, и тут из остановившейся машины выскочили люди и закричали “Бегите в полицию! — Там стреляют, есть убитые и раненые!” — а из другой машины раздался крик: “Террористы!” — и мы все бросились бежать в кибуц... Но это сейчас, уже спустя триста двенадцать лет, в 1978 году, когда я, сидя в редакции, слушаю в высшей степени странную историю про РТ и все остальное.

Как поведал мне Павел Петрович, журнал РТ исчез потому, что он выходил, не получив у властей обязательного утверждения. Я готов был воскликнуть: “Не может быть!” — но остановился, сообразив, что именно с таковой, достаточно мистериозной детали и должна была начинаться вся невероятная цепь событий, касающихся моего повествования... Броский, необычного формата, с великолепно выполненными в стиле, так сказать, интеллектуального фотомонтажа цветными обложками, журнал этот немедленно стал куда популярнее серенькой газетенки, публиковавшей программы

радио и телевидения. Почему-то газетенку, начав выпускать журнал, не закрыли. Оба издания, основным назначением которых было одно и то же — давать недельные программы ТВ и радио — продолжали выходить одновременно, и, вероятно, руководящий аппарат увидел в журнале некую угрозу той единообразной серости, тупости и идеологической непрошибаемости, которые царили во всей прессе и, в частности, в газетенке с программами. За журналом стали приглядывать, начались неприятности, главный редактор ушел, и, хотя его преемник поворачивал дело на более правильный путь, еженедельник, выходявший с апреля 1966 года, просуществовал чуть больше года. Так быстро все закончилось с РТ, и помнят о нем, верно, лишь кое-кто из художников и журналистов, да какая-то часть читателей, воспринимавших журнал, как я, знамение новых времен. Но и я — вспоминал бы я об РТ, когда б не связанные с ним, с одним из его номеров, воспоминания личные? Как бы то ни было, журнал все же существовал, и я уже было вздохнул не то облегченно, не то обреченно — вот она, реальность, подступает ко мне и рушит мой сюжет, едва закопошившийся в сознании, — однако подумал, что у нас, в этой очень дисциплинированной стране, то, что не утверждено благословением начальства, не может считаться действительностью, а является мистикой по существу и чем-то реакционным по содержанию и противоречащим целям, в какие бы тоги оно ни рядилось. Я подумал так и почувствовал, что мое ощущение ирреальности не изменилось. К тому же я ведь не нашел журнала в библиотеке! Как вы думаете, почему? — спросил я у своего собеседника.

Причина, — подумав, отвечал мне Павел Петрович, — в этих буквах РТ, в двух литерах огромного размера — “акцидентного кегля”, как сказал бы я тридцать пять лет назад, поигрывая знанием полиграфической терминологии. Буквы на обложке не расшифровывались никак. Павел Петрович сказал, что это тоже вызывало раздражение у руководства, и когда он это сказал, я опять с трудом удержался, чтобы не влезть поперек его слов со своим восклицанием, потому что вдруг вспомнилось мне, что тогда, в 1966 году, когда картинки и странички журнала то и дело появлялись на доске в одном из коридоров института, повешенные под силуэтом орущего петуха, я в шутку связывал буквы РТ с именами двух подружек, занимавшихся в силу проф-культурнагрузки просвещением своих коллег под эгидой кем-то при-

думанной эмблемы “Горластый красный петух”, из коих подружек одна, вернее – вторая, то есть на литеру Т, стала в дальнейшем, спустя тридцать лет и три года, моей верной любовницей, ныне женой, а другая, на первую литеру Р, в начальных порах любви своей подружки к автору этих строк предоставляла ей время от времени ключ от своей новой кооперативной квартиры. Но это много спустя, однако и тогда, в 1866-м, была у меня любовница, к чему обе подружки сочувственно относились, видя и зная, как я страдаю, и, ощущая их сочувствие, я потому-то и приходил к ним в коридорчик – чтобы отдохнуть от мук моей необычайно сложной, своеобразной любви, отдохнуть в обстановке живой простоты бескорыстного женского понимания и обаяния, интеллектуальных бесед, эмблемы горластого петуха и вырезок РТ под ним.

На журнальной обложке литеры не расшифровывались, искать журнал под названием “Радио, телевидение” было бессмысленно, а под буквами РТ он отсутствовал в картотеке по той, вероятно, причине, что, когда раздраженное начальство указало на недопустимый формализм в столь идейно важном деле оформления журнала, художник его взял и внутри огромной литеры Р, на ее ножке, вписал небольшие буквочки, составляющие слово п дабы, как думал художник, начальство заткнулось. Но начальство, как известно, не заткнулось, тем более что РТ за качество своего оформления успел получить к тому времени где-то на Западе международную премию, что с советским журналом случилось впервые, и начальство этим напугано было чрезмерно. Так что, продолжал Павел Петрович, следовательно, возможно, искать в картотеке на П, но, с другой стороны, выходила под тем же названием и газета, и тоже еженедельник, и могла оказаться путаница.

– Словом, не знаю как библиотека, а я, – сказал Павел Петрович, – являюсь обладателем полного комплекта. Может быть, и единственным, потому что журнал по подписке не шел, и невозможно предположить, чтобы кто-то мог купить все номера. А вас интересует что-то конкретное?

В комнате, кроме нас двоих, был художник, разбиравший груды фотоснимков. Время от времени он принимал участие в нашей беседе – он был сотоварищем Павла Петровича по работе в РТ и тоже многое помнил. Я, однако, поостерегся в казенных

стенах произносить имя писателя-эмигранта и, взяв бумажку, написал:

Виктор Некрасов. Рассказ о кинофильме — “35 дней в Италии” или что-то в этом роде.

— Нет, нет, — сказал Павел Петрович, отводя глаза от бумажки и задумчиво направляя взгляд за окно, — фильм назывался “38 минут в Италии”, а рассказ... Сейчас скажу...

Тридцать восемь минут с той незапамятной поры легко могли обратиться и в тридцать пять дней и в тридцать восемь парсеков — парсек, всем известно, есть параллакс, равный только одной лишь секунде, правда, угловой, но ведь время и пространство, гений и злодейство — разве это вещи не совместные? — а сам параллакс представляет собою тот угол, вершина которого будет где-нибудь в центре звезды — неважно, пяти-шести-или-же-бес-конечной, — а лучи нежным прикосновением тихо обнимут Землю и Солнце (их размерами пренебрежем), для примера полезен тот факт, что у ближайшей из звезд, а именно Альфа Кентавра (мне импонирует, в силу классических ассоциаций, “Кентавра”, а не “Центавра”), параллакс этот равен всего лишь трем четвертям секунды, меньше парсека, — ну, а к тому же в Италии нынче, в иную, невероятную пору, проводят не тридцать восемь минут и не тридцать пять дней, а говорят, четыре-пять месяцев, нежась под Солнцем, меж Небом и Землей, рядом с Альфой Кентавра, далеко от Руси и близко от Нового Света, и с какой скоростью идет там, в Италии, время, никто не знает, разве что Альдо Моро, узнавший все.

— “В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ”. Рассказ назывался так, я вспомнил. Это был необычный номер. Его не дали выпустить в свет, весь тираж пошел под нож. Удивительно, что вы о нем знаете. Хотя, кажется, несколько пачек из типографии успели вывезти. Позвонил председатель госкомитета и велел остановить машины. Причина? Ну, там многое было. За две недели до того нас разгромили и в центральном органе, в статье была фраза: “Допускаются изъяны и в идейном содержании, и в оформлении журнала”. Мы эту статью перепечатали на обороте обложки. На следующей странице было фото 1927 года — пионеры вместе с беспризорными. Речь шла о культурной революции, но там же был еще материал о культурной революции в Китае, и получалось, что в обоих случаях культурной революцией занимались дети — у нас пионеры, а у китайцев — хунвейбины. Подозрительная параллель получалась. Еще мы поместили очерк журналиста, кото-

рого в свое время били за призыв к искренности в литературе; затем рецензию на книгу о колхозах, в ней автор призывал к их полной самостоятельности; также и этот рассказ не однажды раскритикованного Некрасова. Видите, сколько грехов в одном только номере! То есть журнал, получалось, не выполнил указаний. Вам нужен этот рассказ? Хорошо, в понедельник утром, устроит вас?

Павел Петрович спросил это, ничуть не догадываясь, что своим предложением он подводил меня к черте, за которой в брезжащем на расстоянии двух послезавтра утреннем понедельнике должен буду я сдвинуться в мир иллюзорного и, получив журнал, увидеть, что все отсрочки, уловки исчерпаны, руки развязаны, почва под ногами найдена, метафизическое к минимуму сведено и ничего не остается, как начинать с первой фразы, еще неизвестно какой, то повествование, что уже пишется несколько дней среди учащающихся телефонных звонков с неизменным вопросом "Как, еще нет новостей?" — есть новость, есть, я начал писать, в понедельник с утра на перроне метро мне вручает Павел Петрович журнал, — "Он вам, у меня есть второй", — и кричит из дверей вагона, что прочитал мою книгу — "Прекрасно, рад за вас!" — и мы расстаемся, и я приступаю к прологу.

Я вошел в тридцать первый трамвай на его остановке против Адмиралтейства. То, что это был именно тридцать первый, а не тридцатый, как мне помнилось, я только что убедился, глядя на старую, 1703 года, карту транспорта Санкт-Петербурга. По сути дела, ничто не должно измениться, пиши я не "тридцать первый", а "тридцатый", поскольку я убедился, что с успехом могу приравнять тридцать восемь минут к тридцати пяти дням. Но пишущий предъясняет, когда лишь возможно, свидетельства точности, тем оправдывая вольность своей фантазии, поскольку игры с участием воображения по изначальной их сути являются чем-то постыдным — как любовные игры, которым тоже предшествует воображение. К тому же пришло мне однажды в голову: без незнания нет воображения, и обратно — если воображение есть, оно говорит об отсутствии точного знания. Вот почему писателя так и тянет к точной детали там, где она хоть сколько-нибудь уместна. И все же точная деталь, по существу, банальна, как, впрочем, банален трамвай, со своим ностальгическим дребезгом путешествующий сегодня по пьесам, романам и кинобоевикам. Не далее как две недели назад в Петрограде я чуть было

не оказался на выставке трамваев, прежде ходивших по городским проспектам, но мне сказали, что на этой выставке только модели, а оригиналы прошедшим летом показывались в одном из трамвайных депо, и так как прошедшее лето выглядело недоступным, я никуда не пошел. Я уверен, что на летней выставке стоял и тот мой трамвай с номером 31. Это был вымирающий и теперь уже вымерший вид жестколаповочного трамвая из отряда прямых параллелепипедных, подвид двухсуставчатых. Вид жестколаповочных, входивший в отряд ленинградских, отличался от подобных себе, входивших в отряд московских, сиденьями, расположенными вдоль, а не поперек позвоночника, как то свойственно было московским. Пассажиры, как это, впрочем, широко распространено и в вагонах мягколаповочного метро, могли рассматривать друг друга сколько душе угодно без особенного смущения, поскольку силою обстоятельств были поставлены или, точнее, посажены в положение, при котором рассматривание, равноправное и ни к чему не ведущее, оставалось единственным способом времяпрепровождения, если у пассажиров не было охоты читать и, разумеется, если проход меж сиденьями не был заполнен стоящими пассажирами. Я очень люблю рассматривать пассажиров, сидящих напротив, и они мне платят взаимностью. Как я дальше, расставшись с московским метро, буду без этого жить, мне трудно представить. Быть может, по этой причине боязни транспортного одиночества я и пишу о трамvae; и вся трамвайная ностальгия, быть может, и вызвана тем, что писатель, драматург и кинорежиссер уже перелезли в автомобили и расстались с наипрекраснейшим способом наблюдать, сидя близко напротив людских выразительных лиц? Кто знает, поживем, поездим в автомобилях, глядишь, и из него кого-нибудь увидим... что-нибудь напишем...

Тридцать первый трамвай был пустым. Я ехал в сторону швартовки пиратского корабля в те утренние часы, когда пассажирская ниагара вдруг иссякает, и транспортные артерии опадают, скукоживаясь подобно пожарным шлангам, когда перекрывают кран и из брандспойта не бьет, а сопливо сочится, — не знаю, насколько удачны это сопливо и это сочится, но, думаю, раз оба слова сами собой написались, то в них всплыла, конечно же, память о насморке, который, видимо, был у меня тогда, в дни необычайно морозные. Трамвай был пуст и холоден, замерзший после перехода через ветреную Дворцовую, сидел я на лавке,

когда уже где-то за Садовой вошла и села напротив девушка.

Должен оговориться, что я, возможно, домысливаю происходившее, поскольку я не видел, как она вошла и села, точнее надо сказать, что в трамвае *возникла девушка*, это выражение куда более соответствует всему предшествовавшему и последовавшему затем.

...возникла девушка поразительной красоты. Сколь прекрасна она была, я почувствовал немедленно — в области сердца жглось, как в момент острейшего приступа, я попытался вздохнуть, с усилием отвел от девушки глаза, и мои голосовые связки пришли в неслышимое движение — у меня всегда при виде волнующих меня женщин возникает непроизвольное желание запеть, как бы с равнодушием, я стараюсь, по всей вероятности, заместить одни эмоции другими в попытке сохранить душевную устойчивость и тем самым свою независимость от случайных внешних влияний. Я замечал при этом, что характер возникшей в сознании музыки обычно соответствовал раздражителю, и, например, какая-нибудь вульгарная, но привлекательная особа неожиданно заставляла меня замурлыкать опереточный каскад “Частица черта в нас заключена подчас...”. Трамвай мерно постукивал, двухколесные его тележки отбивали свои два неспешных удара, на *три* была пауза: раз-два, неспешно стучали тележки — *три* — пауза, и отсчет повторялся, — и-ритм-по-лу-ча-ет-ся-на-шесть-вось-мых, темп спокойный, и в морозном движущемся пенальчике, в котором находились только девушка и я, возник еще и Его светлость Моцарт со столь знакомым анданте из соль-минорной симфонии. Разумеется. сегодня, когда я так преуспел в музыкальных познаниях, что слышал уже и Штокгаузена, почти невозможного в наших условиях, уместнее всего было бы петь не Моцарта, а хотя бы тему из того Великого Композитора, о котором я писал в своей последней книге, у него есть редкие, но вполне лирические страницы, весьма подходящие к данному случаю, но стремление к точности, как установлено, ведет к банальности, и потому — послушаем Моцарта, *andante*, третья часть симфонии *g-moll, opus 550* по указателю Кехеля. Между прочим, Альфред Эйнштейн (не путать музыковеда Альфреда Эйнштейна со скрипачом Альбертом Эйнштейном!) в своей книге о Моцарте пишет, что у композитора “взаимосвязь между жизнью и творчеством даже кажется чем-то таинственным, так глубоко она скрыта от нас”, и задается вопросом: “А как рассматривать то, что Моцарт сочинял симфо-

нию g-moll в те самые месяцы (лето 1788), когда он в таких потрясающих выражениях молил о помощи своего друга Пухберга? К сожалению, а может быть, к счастью, этот факт тоже не служит достаточным доказательством связи между искусством и жизнью!" — и я вместе с Альфредом Эйнштейном стою перед этой загадкой, стремясь привнести в ее тайну нечто из мира моего личного бытия, которое непостижимым образом свело в единое трамвай и Моцарта, морозный день (зима 1966) и жаркий день (лето 1788), меня и девушку, и то, что я здесь пишу 190 лет спустя.

Она сидела передо мной, и благодаря продольному устройству лавок я мог смотреть на нее без того, чтобы взгляд мой производил впечатление бесцеремонности. И все же я был крайне смущен, чувствуя, как притягивает меня лицо девушки. Несколько раз глаза наши встретились... ее юные щеки порозовели слегка...

— О, счастье! — восклицает здесь мое сентиментальное литературное сердце, — отводя от нее восхищенные взоры, как радостно мне замечать, что в эти краткие мгновения она с тайной пристальностью взглядывает на меня и тотчас же опускает очи, когда я, уступая трепещущему в груди нетерпению, обращаюсь опять к созерцанию ее милого личика!.. Но *личико* — дань чувствительности, столь затронувшей меня, что не позволила употребить необходимое здесь слово *лицо* — потому что не личику, а прекрасных черт лицу бывают свойственны те признаки царственной красоты и законченного совершенства, которые я восторженно созерцал. В меру вытянутой овал, розовеющие, с молочной белизной кожи щеки, прямая, несколько удлиненная, с небольшой горбинкой линия носа, мягко переходящая к скульптурно очерченным крыльям, полногубый, нежнейших изгибов рот, бездонной черноты с негритянской синевою белков глаза миндалевидной прорисовки, опущенные тенью густых ресниц, ясное, неширокое поле лба над двойною, строгой чистоты линией бровей, матово светящиеся пряди блестящих чернолаковых волос, кое-где затронутых нитями инея, — можно ли, даже и воплощая в слова пусть не сами черты, а восторженное от них впечатление, передать чарующую притягательность образа, внешний и скрытый смысл которого есть красота? Кисть, карандаш и перо, обратившиеся к рисунку, а не к письму, перед подобной проблемой оказываются куда способнее и без больших трудностей справляются с ней, но и они, как и бессильные слова, не избегают привычного, и потому нам остается вообразить, досказывать и дори-

совывать, обращаясь к прежнему опыту чувств, к волнению, пережитому некогда, к созерцанию сквозь пелену, к вызыванию духов, к горечи сладко живущего в нас отошедшего в никуда. Сегодня Мария, такая, какой я впервые увидел ее сидящей передо мной в пустом, насквозь замороженном трамвае номер тридцать один, с готовностью ждет, когда же сможет она, наконец, оказаться в одном ряду эфемерных образов, расставленных по затаенным углам моего сознания, подобно головкам гипсовых Нефертити на пыльных полках московских квартир, и я сопротивляюсь этому лишь оттого, что еще продолжаю писать, а как только закончу, Мария будет свободна и займет свое, подобающее ей по праву место рядом с Суламифь, Нефертити, Софи Лорен, Незнакомкой кисти Крамского, Тамарой пера Врубеля и с еще одной дамой, которая прошла однажды мимо меня, когда я был двенадцатилетним мальчишкой.

Теперь я могу быть уверен, что, соединив в одно поэзию и прозу, музыку, живопись и скульптуру, искусства выразительные и изобразительные, пространственные и временные, воссоздал образ прекрасной Марии, и ему суждено волновать людей уже независимо от моей воли, равно как и вне зависимости от того, будет ли Мария что-либо знать об этом. Скорей всего не будет никогда, ведь даже если мое писание когда-то и где-то увидит свет, невозможно представить себе, что достигнет оно Ленинграда, а в нем, в этом городе очень дисциплинированном, достигнет оно Марии.

Дорисовывая портрет, я должен обратиться к сепии. Коричневое пальто имело коричневый же воротник из ондатры, из такого же меха была круглая шапочка, воротник и шапочка по краю искрились инеем застывшего девического дыхания, лицо Марии проступало словно из прозрачной лунки оттаявшего окошка, края которого покрыты штриховым ледяным орнаментом. На руках ее были варежки совершенно не подходящей к остальному серой вязаной шерсти, и это выглядело умирительно, потому что говорило о том, как мерзнет бедная девушка в эти жестокие зимние дни, ей пришлось, сберегая нежные пальцы, надеть не изящные кожаные перчатки в обтяжку, коричневые, на белой подкладке, а простые русские варежки, толстые и не в цвет. Да, да, были серые варежки, но мне почему-то видится муфта, какие исчезли, как помнится, в предыдущем еще поколении, мне хочется, чтобы возникла муфта, светло-коричневая, из ондатры,

и она послушным зверьком возникает, тихо ложится поверх коленей Марии, ее озябшие руки скрываются в теплом меху, в теплом, мягком, уютном и сонном исчезнувшем слове *муфта*.

Мы медленно едем, и мне хорошо и томительно тягостно. На прекрасном лице Марии беспомощность, с неосознанною мольбою взглядывает она мне в глаза, будто просит меня: "Не смотри так..." Я знаю, что не должен *так* смотреть, но именно так я хочу смотреть на нее, а смотреть иначе невозможно. Невозможно и то единственное, к чему призывают нас наши взгляды и наша растерянность: оказаться друг подле друга, дыхание к дыханию, шепот к шепоту, и не холод — тепло, не город — зелень деревьев, не бремя житейское — греза...

Трамвайное анданте продолжалось, и продолжалось оно тридцать восемь минут и тридцать пять дней. К исходу этого срока моему ребенку исполнилось четыре с половиной года, мой десятилетней давности брак был уже порядком расстроен, а обуявшая меня полтора года назад любовь — необычайная, своеобразная — успела предстать передо мной во всей сложности неразрешимых психологических противоречий и шла уже на убыль, обогатив меня новым жизненным и писательским опытом — достаточно сказать, что, наблюдая в период этой любви за своим поведением как бы извне, я написал одноактную пьесу, в которой личность была представлена в трех ипостасях — ангельской, демонической и обывательской, и сущность человеческого, то бишь моего, поведения там рассматривалась с этих трех различных сторон, причем вывод из всего происходящего выглядел наиболее неутешительно для ангельского начала, тогда как демоническое торжествовало мрачную победу, а обывательское продолжало существовать как ни в чем не бывало, и вот теперь я снова вопрошал себя, сколь ангельским и сколь демоническим будет мое поведение, если я, уступая влечению, перейду к скамейке напротив, окажусь рядом с девушкой, заговорю, и начнется знакомство, которое, кто его знает, к чему поведет? — ведь она такая юная, ей, наверное, нет двадцати, а я ровно на сотню лет старше, передо мной — сама невинность, пред нею — демонизм, отягченный прошлым, в котором жена и ребенок, настоящим, в котором любовница, будущим, где профессия литератора честно сулит мне безденежье в качестве пустяковой цены свободе. И еще я себя вопрошал, любуясь почти неотрывно прелестным лицом, почему

раздражение, которое я испытывал из-за этой двойственности, тройственности, словом, неоднозначности (так теперь говорят, — тогда еще нет) своих размышлений, почему раздражение это было таким знакомым, будто я однажды, и совсем недавно, уже находился в подобной же ситуации.

С тоской я ждал конца совместного путешествия. Корабельный пирс, к которому я направлялся, был там, где трамвай делал круг. И значит, не мне предстояло первым покинуть вагон, и от остановки к остановке, едва движение трамвая замедлялось, я начинал тревожиться: сейчас она сойдет. Но, миновав остановку, трамвай ускорялся, радость охватывала меня, но для того лишь, чтобы вновь угасать вместе с тем, как вновь нарастала тревога. Маршрут был близок к завершению, самонадеянные мысли явились мне — а что, если она не хочет сходить и свою остановку давно пропустила, мы выйдем вместе, я легко спрошу ее: “Куда вам, девушка? позвольте, я вас провожу”, — как внезапно, за остановку до круга, она поднялась и стала у выхода. Дверная створка отодвинулась, девушка помедлила и, делая шаг к ступеньке, оглянулась на меня. Печаль, смущение и затаенный укор успеваю я прочесть на ее лице, мелькает темная прядь волос, в них младенческий розовый контур нежного ушка, я порываюсь броситься следом и остаюсь, разумеется, неподвижен. Фигурка ее исчезает в клубах морозного пара, и дверь закрывается.

Ангел пел нечто весьма добродетельное — бесполое, вероятно; демон рвал и метал; обыватель коченел и думал о том, что, придя на корабль, первым делом залезет в штурманскую и согреется.

Весь день провел я с паршивым чувством, будто солгал кому-то, совершил предательство. Было бесполезно спрашивать себя, в чем я солгал, что предал. Просто-напросто, в очередной раз пришлось совершить насилие над собой в угоду правилам, неизвестно кем и когда установленным. Я живу, говорил я себе, в тюрьме, у которой оградой — невидимая стена из запретов. Столь безмерно свободный в играх воображения, обладатель разума, для которого любое ограничение, поставленное ему чужою мыслью, всего только желанный повод преодолеть его с лихою смелостью, почему я превращаюсь в жалкого раба нелепых установлений, не позволяющих моим простым, естественным порывам перейти в простое же действие — обратиться к девушке, к женщине и заговорить? Ведь я не стеснителен, я далеко не наивный юноша, которого пугает неизвестность, предстоящая ему в любом женском

образе, я умею увлечь разговором и умею выслушать, к тому же знаю с недавних пор то, чего в дни юности не знал, — что женщины не обходят меня вниманием. Большинство из тех мужчин, кого я наблюдал повседневно, мало чем превосходили меня, иные были совсем никчемными, по каким бы — физическим или умственным качествам их ни судить, а поди ж ты, — легко сходятся с женщинами, легко расстаются, любят и не страдают, а пострадают сколько-то, в меру, глядишь — и перестали. Вот хотя бы в летних моих морских экспедициях, в завлекательных, полных неги и страсти портах Черноморья, — то у одного из наших ребят грузинка появилась, то у другого курортница-сибирячка, то у третьего сразу две. А я? Заглянула к нам на базу моя знакомая из Москвы, которую я знал уже не первый год, прогулялись мы с нею в горы, и как в пропасть свалился: почти два года, как не развяжусь... Нет-нет, есть во мне изъян психологического свойства, все у меня идет безобразно, если уж влезаю во что — так по уши, и потому чем дальше, тем больше опасаясь, сторонюсь, боюсь упасть в моральные пропасти, берегу себя, трушу я, просто-напросто трушу, вот и с нею, пред ликом прелестной сегодняшней Суламифи, оказался трусливо беспомощен, ты уступил пресловутым запретам, ты с тайным облегчением подставил под ритуальный нож затрепетавшее сердце, дал выпустить кровь, вот и живи с измятым тряпичным комком в груди, ты достоин своей судьбы, ты не тот, кто с песней по жизни шагает и никогда и нигде не пропадет!

Глядя в то сегодня из сегодняшнего послезавтра, погружаясь в состояние человека, который на обледенелой корабельной палубе не слишком расторопно возится с железками и проводками, я сострадаю и стараюсь почувствовать ту же боль, что и он. Мне это удастся в большей степени, чем удастся выразить здесь и сейчас на бумаге. Я весь там, на холодной палубе, у меня течет с носа, я продрог и, кажется, здорово болен — спустя двое суток из-за резкого постреливания в ухо я пойду к врачу, и он скажет, что в ухо начался евстахеит — тот самый, что продолжается по сей день, и сейчас, среди лета, у меня почему-то простуда, и в ухо постреливает, и мне не нужно ни памяти, ни воображения, этих заезженных литературных орудий труда, чье назначение быть средством перевоплощения в образ, — мне не нужно перевоплощаться, я пишу — значит, я существую, двое в одном, и оба — это я, сам-друг, вчерашний и сегодняшний, как, впрочем, и после-

завтрашний, потому что, подобно хроническому евстахеиту, ты всегда будешь вместе с собой, и от этого не излечивают.

Но в дни мимолетных встреч с Марией я излечивался. Нет-нет, не терял себя — наоборот, лучше сказать, что я заболел сам собой, излечиваясь от кого-то, кем я на самом деле не был. Далекой той зимой тысяча-не-помню-сколько-сот-десят-шестого года я рушил ту несправедливую жизнь, которую влачил из года в год — несправедливую, потому что Бог создал меня для жизни иной. Я это узнал, когда однажды выяснил все о себе, досконально обсудив мои дела непосредственно в разговоре с Господом. Но до этого разговора цели Провидения, ведущие меня теперь, не были мне столь достоверно известными, я мог лишь смутно о них догадываться. Первые разрушительные удары по устоям, на которых зиждилась моя полная долготерпения, но не угодная Богу жизнь, я наносил вслепую и, чувствуя, что разрушаю, с ужасом вопрошал: да будет ли на месте руин возводиться нечто более достойное или одни лишь развалины и останутся, чтоб порастать травой забвенья? Признаться честно, и сейчас, когда я готовлюсь сжечь свои старые рукописи на костре в Переделкине, близко от Дома писателя, тем символически предвосхищая грядущее всеожжение моих изданных книг, я испытываю страх, но это страх иного рода, чем тот, двенадцатилетней давности страх: сегодня он принял форму благоговейного трепета перед Историческим Ходом Событий, в которые я вовлечен, тогда как тот, позавчерашний древний ужас был подобен страданиям одиночки самоубийцы. Только таким состоянием и можно объяснить, почему цепочку внутренне связанных, внешне же совершенно различных явлений не воспринял я как Знаки, посланные разными путями, но с единственной целью укрепить мой дух. Мне послана была Мария, и ее прекрасный облик воплощал собой реальность Знака, тогда как обстоятельства, сопутствовавшие моему знакомству с нею, должны были сказать, что существует за нашими встречами нечто иное, чем только реальность. И тот разительный факт, что я день спустя после первой встречи смог посредством одного лишь страстного желания вызвать к себе Марию, стал мостом, уводящим меня от прошлого в мир мечты, воображения, фантазии и сказок — в мир, где царят ИСКУССТВО и ЛИТЕРАТУРА, которым я посвящал себя. Нет поэтому ничего удивительного в том, что вторая встреча с Марией произошла под влиянием или, если угодно, в состоянии внушения, в которое

я пришел при посредничестве двух произведений Искусства и Литературы.

Об одном из них речь уже шла — это рассказ В. Некрасова из журнала РТ. Другим оказалась пьеса, которую в тот же день вечером видел я в ленинградском Театре комедии. Сошлось все в такой, казалось бы, бессвязной последовательности: рассказ, первая встреча с Марией, пьеса, вторая встреча с Марией. Но бессвязность этого перечисления сразу же обращается в стройную взаимосвязь реальных и надреальных, не объяснимых логически, событий, едва лишь цепочка дополняется всем тем, что происходило в моем воспаленном сознании — воспаленном чрезмерно и от горящего желания все изменить в своей жизни, и от истощившейся, но иссушившей меня любви, и от болезни, которую я подхватил на продутой палубе, — и предстает все это, как мне ослепительно ясно сейчас, вот в каком виде: я читаю на стенде в своем институте рассказ В. Некрасова — и забываю на время о нем, и не ведаю, что рассказ в глубинах моего мужского естества связался с той, к кому влекло меня, чувством не народившимся, но зачатым в глуби моего нутра, с той, кто, как я упоминал, устраивала этот стенд и чей инициал был второй буквой в аббревиатуре РТ, но, повторяю, я о себе не знаю еще и не буду знать в течение целых двух лет, — встречаю, как я думаю тогда, случайно Марию и, расставшись с нею, терзаю себя весь день мыслью о том, что вся моя жизнь — закованность, запреты, несвобода, и оставшийся недосыгаемым образ Марии обращается в образ желанной Свободы, в символ Прекрасного, в лик Совершенства, которому я призван вечно служить, и, конечно же, в воплощение Вечно Женственного — а вечером того же дня смотрю я в театре пьесу, в ней драматург изобретательно показывает, как воображение легко смывает грань меж бытием и вымыслом, как Искусство легко обращает реалии зримого мира в мир иллюзорный, но столь же зримый и потому сосуществующий вместе с реальностью, внутри нее — пьеса, в общем-то, слишком проста по сюжету, входят — выходят, и каждый выкладывает о себе, сюжета никакого нет, в горах какая-то авария, и все из префектуры там, а новый господин префект готов сойти с ума, поскольку реальное с ирреальным смешались, входят — выходят, префекту сказано, что не настоящие жители входят — выходят, а это актеры местной маленькой труппы, то есть Жизнь и Искусство равны, действительность не заполняет собой весь мир, в нем присутствует воображе-

ние и заявляет о себе, оттесняя реальность и замещая ее, бедный, бедный префект, не дано горемыке понять, действительно ли умирает перед ним человек, или это иллюзия, лишь лицедейство, и нам всем, логически мыслящим, тоже того не понять, потому что все вокруг нас лишь пьеса внутри другой пьесы, мы зрители, мы же актеры, мы драматурги и сценаристы, мы призваны разыгрывать и сочинять и наблюдать со стороны и видеть только то, что сами видим, а другие видят что-то иное, и до единообразия не докопаться, — и вот во мне, взволнованном этой живой демонстрацией силы Искусства и силы Воображения, лихорадка скачущих мыслей, чехарда мелькающих образов вызывает на сцену недавний рассказ, в котором ведь тоже все спуталось дивным клубком и в котором сюжета нет, а есть жизнь-и-не-жизнь на грани искусства-реальности, он, то есть автор, монтирует документальный фильм, тридцать восемь мгновений в Италии, улицы, площади, люди, машины, в кадр попадает женщина, идет навстречу ей парень, проходит мимо, оборачивается ей вслед, прокручивают этот кадр пять, десять, сотню раз — и сотню раз он оборачивается, и они расходятся, идут своей дорогой, вот так, как я и Мария, когда она покинула трамвай, а я поехал дальше, и вдруг он, автор, при сотом, может быть, просмотре, вдруг он видит, как этот дурень-парень повернулся и пошел за женщиной, догнал ее, заговорил, а в следующий раз они, женщина и парень, вовсе исчезли с экрана, не появлялись в кадре, как будто их и вовсе не было, желание и невозможность, жизнь-и-не-жизнь, раздражение на невозможность прокрутить хоть один эпизод в разыгранной сценке сызнова и по-другому, раздражение, что испытал я, расставшись с Марией, всплывает словами рассказа “потом парень этот стал меня раздражать”, и вертятся в голове обращенные к парню слова “Ну вот и пошел бы за ней”, я тоже себе говорю, что — дурак! — и говорю себе: нет, повстречайся мне Мария снова, если бы стало возможным вернуться назад и сыграть по-иному, клянусь, я пошел бы за ней! — но нет, невозможно, чушь все собачье все это ваше Искусство пьесы фильмы драмы рассказы ты лезешь в литературу где так безнадежно нельзя встать устойчиво не обо что облокотиться запомни кретин ты будешь писать одно прочитывать другое тебе будут предсказывать третье не удивляйся ведь в этом и сила воображения нет в нем единственной правды и тут-то вся сущность премиленькой драмы весь интерес на том все и держится о как я страшно замерз и куда меня

тянет в мир призраков нет никого ты один нет Марии — Марии? — это ошибка меня занесло в иное пространство откуда мне знать что Марию зовут Марией она сошла с трамвая и исчезла и вот я движусь через Невский — и тут в безмолвный и кричащий мир всего, что мучит и томит, почти безумием пытается воспаленный разум, —

В ЭТОТ МИГ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО Я ИДУ ЗА НЕЙ,
— иду за Марией по Невскому, мимо Театра комедии.

Было это вечером на следующий день. Падал частый сухой мелкий снег, блиставший на лету под светом фонарей, и рыхлая, рассыпчатая белизна смешалась с темнотой, разбавила тени, обволокла, обесцветила, сгладила ровность фасадов и тротуаров, облекла в балахоны людей и перекрыла подвижной мишурной сетью пространство, так что все в этом мире, живое и неживое, все было сведено воедино и стало мерцавшим экраном.

“И вот в кадр попадает женщина”. Это цитирую я В. Некрасова, поскольку эпизод его рассказа возникает в моей памяти в тот миг, когда я прохожу по Невскому мимо Театра комедии, и ленинградская зима, и римское лето, и моцартовское лето тоже, и лето нынешнее — то ленинградское, в котором только что побывал, и то московское, в котором пребываю, и то парижское, в котором, верно, обитает Некрасов, то иудейское, в котором пребывает сын, написавший мне *“Поздравляю! потрясающе! ждем вас!”* — зима и лето, милое анданте, марш фунebre (итал. яз., если кто не знает), — все оживает, живет и уже никогда не исчезнет с экрана.

“... в кадр попадает женщина”. Как объявляют западные дикторы, конец цитаты. Объявляют, потому что не слышны по радио кавычки, а люди западные, видно, очень педантичны и соблюдают авторское право на любое сказанное слово. Будто есть у них что-то, что от себя говорят, будто есть у кого-то сегодня хоть слово, ни у кого не заимствованное. Мы столько назанимали, что не рассчитывать, и сами-то мы чей-то долг, и нас кому-то отдадут в оплату неизвестно чьих истрепанных тысячелетней давности расписок. Все наши слова от кого-то приходят к нам и к кому-то уходят, как женщина на экране. Зачем кавычки? Цитируют же композиторы, сживаясь с детства с тем же Моцартом, как и с Бетховеном и с Иоганном Штраусом, — цитируют же без всяких кавычек и объявлений известные темы, и великие по-братски делятся с коллегами всем, что к ним пришло однажды в зальцбургское лето и стало

партитурой и к нам идет уже сто девяносто лет. Заимствуем, заимствуют, я, ты, он, вы, они — мы повторяем Слово, Ноту, Линию и Цвет, перепеваем, переписываем Их, Которые были и будут, и, пожалуй, надо предложить, и я предлагаю: давайте-ка мы — поэты, композиторы, прозаики, живописцы — соорудим одну на всех Партитуру, составим для нее словесный текст, напишем музыку, украсим буквицами и виньетками и, тиснув в единственном экземпляре, переплетем в переплет, красивше которого не видел свет. И на том уgomонимся. И пусть каждый, когда дела дойдет, будет вести себя скромно. Сам я, спрошенный, каким из известных мне многочисленных слов хотел бы участвовать в тексте, ответил бы, что ограничусь одною лишь точкой, и попросил бы, чтоб взяли именно ту, которая будет стоять в конце вот этого моего, пока еще недосочиненного опуса... Когда я стану совсем свободным — надеюсь, что скоро, — я внесу Предложение о Партитуре на сессии ЮНЕСКО, предварительно договорившись с арабскими делегациями, чтобы они его не блокировали и пропустили бы в повестку дня одним из первых пунктов, непосредственно перед вопросом об осуждении сионизма.

Но я возвращаюсь к цитате *“И вот в кадр попадает женщина”*. Я мог бы продолжать цитировать, я мог бы даже привести здесь весь рассказ с начала до конца, благо весь объем его — одна неполная журнальная страница, и страница эта лежит на столе пред моими глазами. И, признаться, я начал было переписывать ее, выставив перед заимствованным текстом загогулилки кавычек, но потом, побродив в безделии и праздности дня три-четыре, подошел к столу и похерил (устар. перечеркнул, если кто не знает) цитату, в чем можно будет легко убедиться любому литературоведу, когда он начнет изучать черновик моей рукописи, что, однако, вряд ли случится, поскольку рукописи уготовлено сгореть, и так как, если повезет, останется лишь машинная перепечатка, в которой не сохранится зачеркнутое, я и счел необходимым обратить внимание всех заинтересованных лиц на существенную деталь, которая могла бы в тексте быть, но тем не менее исчезла безвозвратно. И я должен сказать, почему.

В том состоянии, в котором пребывал я, шагая вдоль заснеженного Невского, не мог я вспоминать прочитанный рассказ, как связный, выстроенный текст. Опушенный сквозь щелочку в копилку памяти, он там свернулся, потерял свои слова и фразы, стал абстракцией, исчезло нечто, что присуще было строю автор-

ского мышления, а появилось то, что свойственно было лишь мне — моему сугубо интимному. Получив сейчас, через двенадцать лет, столь желанный текст и перечитав его несколько раз, я убедился, что рассказ не тот, каким я знаю его с той далекой поры, когда впервые его увидел. Что-то очень существенное изменилось в каждом из нас — во мне и в рассказе. Мы ушли друг от друга, я с грустью и тоской смотрю на него и прощаюсь с ним навсегда и чувствую, будто его предаю, но сознаю в то же время, что это не так: на самом деле я не его, не текст рассказа помнил, знал, хранил и мечтал вновь увидеть, а ту его сущность, что вошла в меня и мною стала, и эта сущность не выразима словами. Если б я был философом, я бы сказал, что не воспринимал рассказ как объект, он уже в первоначальном прочтении был субъектом, поскольку был облачен в мое субъективное "я", и только в этом его облачении и представал предо мной его смысл. Сегодня мое "я" иное, и, следовательно, рассказ сегодня — иной субъект, и, прочитав его с утилитарной целью, — оживить, как мне казалось, в памяти свое о нем впечатление, я потерпел фиаско. Этот нынешний рассказ слишком прост: прожив во мне столько лет, он исчерпал себя.

Была еще, как я упомянул, и пьеса. Я вынужден признаться, что о ней, о том, что и она имела отношение к мгновению встречи с Марией на Невском, я позабыл, но театр, пьеса и ход лихорадочных мыслей, возникших при виде светящегося витража на фасаде театра, — все это явилось внезапно в сознании, только когда я взялся за описание снежного вечера, а первоначальное упоминание пьесы (см. фразу: "При посредничестве двух произведений..." и далее) я внес в текст позднее, когда сумбурное и, разумеется, безнадежно провалившееся описание вечера было окончено. С ненужной, как теперь я понимаю, педантичностью, пошел я снова в библиотеку и там, опять не без трудов — я не знал, не помнил, конечно, названия, но вспомнил, что итальянская пьеса, и это опять поразило меня, вспомнил, что, может быть, автором был популярный тогда драматург и актер Эдуардо де Филиппо, — разыскал я пьесу "Искусство комедии", прочитал ее, сделал выписки, которые лежат теперь поверх РТ с рассказом В. Некрасова, и понял, что не воспользуюсь ими. Но снова увидел, точнее сказать, убедился, как ловко тогда было сведено все вместе! — и пьеса, и рассказ, и встреча с Марией, и лейт-тема Искусства, звучавшая для меня с той поры и по нынешний день лейт-темой Судьбы,

а чем прозвучит она завтра — Бог весть. И вот я вновь и вновь стремлюсь настигнуть сам себя, того исчезнувшего навсегда себя, предпринимаю безнадежную, но сладостную для меня попытку разыграть в сознании своем и вынести на этот лист бумаги странный, просвеченный метафизическим светом заснеженный вечер, холод и пар изо рта и проступающий сквозь мельтешение снега огромный витраж освещенного перед началом спектакля театра.

Я иду по вечернему Невскому вслед за девушкой и люблю ее походкой. Ступает девушка неспешно, неуверенно, будто не знает, куда и зачем идет, и эта детская несмелость стройной фигурки трогает меня до умиления. Те же шапочка и пальто и те же на ногах сапожки, вязаные варежки торчат несогнуто, как отверделые, из рукавов, оттого что пальчики под ними подобраны ради тепла в кулачки, и с волною горячей нежности я вижу их, тонкие девичьи пальчики, и представляю, как беру их в ладони и грею своим дыханием. Стараясь оставаться позади нее на расстоянии пяти-шести шагов, я движусь замедленно, отчего мне кажется, что вязну в снегу, что меня засыпает и я засыпаю, что мне тепло и покойно, то есть чувствую себя подобно человеку, которому недалеко до смертельного замерзания. По временам, когда прохожие загораживают фигурку девушки и она исчезает из виду, я ощущаю смутное беспокойство, машинально ускоряю шаги или чуть уклоняюсь в сторону, пока не убеждаюсь, что девушка не растворилась среди снегопада, и от нее ко мне по-прежнему протянута невидимая нить. Идем мы в направлении Адмиралтейства по правой стороне проспекта, и так, без времени и цели, готов я идти хоть через мост, за скованную льдом Неву, сквозь весь Васильевский и за острова, что за ним. Стезей занесенного Невского ведет меня Мария, осыпанная снегом, как если б в белом венчике из роз... — но вот она сворачивает на Желябова, и Невский, виновник всех мистических фантазмагорий отечественной литературы от "Носа" и до "Двенадцати", скрывается за спиной, подступает действительность в виде Универмага под литерами ДЛТ, и я понимаю, что, убыстряя шаги, моя девушка хочет направиться именно в Универмаг. Я раздосадован: принадлежащая мне, мной вызванная из таинственных сфер Чудесного силой моих устремлений к Прекрасному, хочет она погрузиться в мир пошлого бытия и оказаться среди грубых вещей на торжище, где властвуют лишь низкие потребности людей, не знающих уменья убегать материальных благ!

Спеша, я догоняю девушку, и досада моя выдает себя в словах глупых и раздражительно сказанных:

— Ну постойте, куда вы так торопитесь?

Мгновенье мы стоим друг перед другом молча, бездонные, полные грусти глаза глядят на меня, и она отвечает певучим, несколько меланхоличным голосом:

— Я иду в универмаг.

— Я знаю, — поспешно киваю я и сбивчиво продолжаю, — то есть я хочу сказать, что давно за вами иду, от Театра комедии, но теперь увидел, что вы, наверно, в универмаг, и испугался, что... что мы снова так и расстанемся, а это невозможно, вы понимаете? — я себе сказал, что обязательно, если снова вас увижу, обязательно должен буду с вами заговорить, — а вы меня запомнили?..

В ее печальных глазах растерянность и мольба. О, Боже, какими длиннющими и густыми ресницами она прикрывает их, когда опускает взгляд, увидев, как я смотрю на нее!

— Я вас не знаю.

— Да, ну конечно, мы незнакомы, но мы же... Вы помните? — уже умоляю я.

Она поднимает голову, смотрит в сторону, будто не решаясь, отвечать ли мне, потом спокойно глядит мне в глаза.

— Вчера в трамвае?

Я улыбаюсь в ответ — сколько то позволяет мороз, задубивший кожу на щеках, обметавший болезненной коркой рот и ломотой проникающий в зубы. В это мгновенье я счастлив. Я чувствую, хотя не осознаю еще разумом, что свершается необычайное, что Фортуна являет мне благосклонность свою, давая однажды случившемуся повториться, дабы смог я заново переиграть, пережить, пеле-перестрадать и перебороть... Так мы проходим сквозь божественные миги, так крылья вечности нас задевают легонько и так, едва мы вздохнем и чуть вздрогнем от этого — что это? — они уже взмыли в горнем взмахе, и нам не дано уследить их стремленье.

Говорил я чрезмерно много — от возбуждения, от смущения, от того, что Мария, как она показала мне скоро, не слишком старалась поддерживать разговор — она не знала, что ждать ей от этого странного человека, разом предлагавшего ей пойти сейчас вместе с ним на концерт, в кафе, в кино — куда-нибудь, лишь бы не расставаться и не замерзать и чтобы можно было говорить в тепле. Она отказывалась, отвечая кратко "Нет, я не пойду",

и мне оставалось снова что-то предлагать и снова в чем-то убеждать, но Мария — она назвала свое имя, и я повторил "О, Мария — прекрасное имя — Мария!" — была непреклонна, мы все стояли на месте, и куда-то же надо мне было сдвигать необычное наше знакомство! Послушайте, начал взывать я к Марии, вы удивлены, и вправду, все так неожиданно для вас, но не для меня, и я вам расскажу потом, как получилось, что мы дважды встретились, не думайте, что все случайно, а пока давайте мы хотя бы лишь на этот вечер станем друзьями и проведем его вместе; но Марию мои слова привели только в большее недоумение, она смотрела на меня с боязнью, вполне объяснимой, впрочем, если учесть, что предо мною стояла совсем еще юная девушка, еще почти ребенок, и может статься, что она впервые разговаривала с мужчиной, пожелавшим знакомства с нею. Мария, продолжая, вас этот вечер ни к чему не может обязать, два-три часа, и мы расстанемся, а я потом уеду из Ленинграда совсем — "Куда?" — спросила Мария, настороженное, неподдельное удивление было в ее медлительном голосе, она смотрела на меня из самой глубины огромных глаз, — и смутно во мне шевельнулось тоскливое чувство, что этого лучше бы не говорить, что не надо вперед забегать и что если события не поспешают, нечего их подгонять, — но я уж таков, я же не из спокойненьких, все-то мне надо себя обскакать и, едва оказавшись в одном положении, тут же нестись посмотреть на себя из другого, и сразу ты здесь и не здесь, ты сейчас и ты где-то витаешь еще через несколько суток по ходу событий, — и, отвечая Марии, достал я билет на "Стрелу" — вечером завтра, сказал я, уеду в Москву, я же не ленинградец, москвич, я уеду, и мы не увидимся больше — "Москвич?" — недоверчиво переспросила она, и мне бы следовало уловить оттенок разочарования в ее вдруг ставшим детски любопытном взгляде. Все же моя бездарная откровенность имела тот результат, что Мария решилась наконец снизойти ко мне. Она согласилась "просто погулять", что на морозе далеко за двадцать градусов обещало кавалеру довольно пикантненькое испытание, особенно и потому, что был он простужен и успел уже продрогнуть до костей. Отмечу в свою честь, что я достойно перенес мою долю страданий, но Мария вела себя выше всяких похвал: мы бродили по Невскому и на завьюженных набережных чуть ли не до полуночи, и моя спутница не возропала на холод ни разу, а расстались мы, когда лишь я сам предложил ее проводить.

Марии было девятнадцать. Инфантильность, свойственная ей, и отсутствие даже намека на естественную, инстинктивную кокетливость, которая присуща девушкам с молодых ногтей, заставляли предполагать, что Марии и меньше того, что она лишь подросток, робкий и не пробудившийся птенец, но одетый уже в красивейшее оперение. Восхищение с явным налетом печали росло во мне с первых минут нашей долгой совместной прогулки. Как далек ее мир от меня, как он прост, безыскусствен, непритязателен! Год назад окончена школа, попыталась сдавать в институт, не прошла по конкурсу, будет летом пытаться снова, поступила работать в библиотеку, живет с родителями, есть сестра, училась музыке, но бросила — “так, не получалось”, читает книжки — “когда есть время”, ходит в кино — “редко, у нас же есть телевизор...” Я хочу за ее малозначащими словами увидеть иное, скрытое от постороннего взгляда, — ожиданье чудесного принца, тоску о несбыточном счастье, мечты о кливерах, стакселях и брамселях, покрашенных в розовый цвет, — короче, веру в светлое завтра свое и всего человечества, и не вижу, не нахожу ничего, кроме того, что дает ей каждодневная жизнь и что девушка воспринимает без недовольства и без посягательства на большее. Какой же контраст моему отношению к жизни! Да разве бываю я ею доволен? Разве не рвусь я всегда за ее ворота или, на худой конец, не стремлюсь ли внести внутрь ее ограды что-то извне, как сейчас, когда думаю, что примиренность Марии с действительностью, не благоприобретенная девушкой, а изначальная, присущая самой ее натуре, была, как я думаю теперь, одним из божественных Знаков, ниспосланных в милом, наивном девическом образе, чтоб указать мне на иную, противоположную Возвышенному, но столь же неизбежную в моих грядущих деяниях на стезе Литературы и Искусства сторону, точнее, на опору их, Искусства и Литературы — на Жизнь и Быт, питающие нас, как хлебом и водой, пирожными и квасом, так и характерами и сюжетами, деталями пейзажей, интерьеров и красками родного языка, подобно узанному только что неологизму *ухуюшился* (устал, умаялся) — ох, где-то все это возьму, покинув Жизнь и Быт, привычные от детства? Чем буду я питаться, когда, отлетев в Жизнь и Быт столь иные, что там ни пейзажа, ни кваса, ни рожки привычных, ни слова, захочу там работать в весьма недоходной, не государственной фирме под вывеской Literature and Art?

Мария! Ты помогаешь мне! Подобно тебе, я приемлю действи-

тельность, как она есть, я ее органичная часть, а что до мечтаний — оставим их детям, Мария, есть сын у тебя и есть сын у меня, твой еще во младенчестве, мой вступил уже в юность, пусть их мечтают о чем-то своем, нам с тобою столь же непостижимом, как и представить обоих их вместе, сошедшихся где-то в Библейской земле, я надеюсь, не с автоматами друг против друга, поскольку навряд ли здешнего еврея пошлют воевать за арабскую сторону..

То немного, что Мария поведала мне о своей жизни и о себе, я узнал не без трудных усилий, так как моей спутнице был свойственен школьный подход к возникавшей пред ней то и дело задаче давать мне ответы: она не старалась уйти за пределы вопроса, я получал прямой, но "неразвернутый", как говорят учителя, ответ, и наступала пауза, которую прервать мог только я, и все повторялось снова и снова. На прошлом опыте я убедился, что этот тип девушек самый непостижимый, и общение с ними становится чем дальше, тем более проблематичным, потому что невозможность развивать беседу, ограничиваясь лишь вопросами, заставляет тебя заполнять промежутки между ними рассказами о собственной персоне, что может собеседнице и надоест, к тому же, если с первого свидания ты выдашь о себе чрезмерно много, интерес к тебе будет потерян, особенно когда он не был подкреплен сближением, хотя бы минимальным, но не разговорного толка. В данном случае я и не мыслил о чем-то подобном, и с безнадежно тоской пришлось мне в конце концов констатировать, что она обо мне знает многое, я о ней слишком мало, я все болтаю, она же молчит, скоро нам расставаться, и мне больно подумать, что дивное это лицо я уже никогда не увижу.

— Ведь я не видел даже ваших рук, — сказал я ей, когда стояли мы в ее подъезде. — Давайте, я погрею их.

Она чуть улыбнулась и чуть хмыкнула, недоуменно глянув на меня, будто надо было убедиться ей в моем столь неожиданном желании, но не препятствовала мне, когда я снимал осторожно варежки и брал ее мерзлые пальцы в свои, тоже мерзлые, и дышал на них паром мгновенно хладеющего дыхания.

— Вы мне должны подарить еще один вечер, завтрашний, — говорил я. — Такое необыкновенное знакомство просто не может окончиться так, вот сейчас, когда вы закроете дверь за собой. Пусть еще только раз, но нам нужно увидиться снова. Согласны?

— Зачем?

— Ах, ну как я могу вам сказать — зачем. Завтра в полночь я уезжаю, и, быть может, я никогда не вернусь в Ленинград. До сих пор я бывал тут часто, но теперь все кончается, я уйду с работы, и никаких кораблей уже больше не будет.

— А почему вы уходите?

— Буду писать. Представляете? — стану писателем. Как вы считаете, есть во мне что-то похожее на писателя?

Мария посмотрела на меня с любопытством и недоверием.

— Не знаю.

— Ага, вы не верите! И правильно. Я и сам этому не верю. Но я ведь вам пришлю свою первую книжку, хорошо?

— Хорошо, — ответила она, как будто именно в том, что будет книжка, а не в том, похож ли я на писателя, отсутствовала всякая сомнительность.

Назавтра, к исходу рабочего дня, я пришел к ней в библиотеку. Это была детская библиотека, и Мария, одетая в тонкий халатик, мало чем отличалась от девочек-старшеклассниц, сидевших в читальном зале. "Детское" сопровождало нас и позже, весь этот вечер, когда мы чинно сидели в кафе, которое тоже считается детским, предлагают в нем сладкое, и в дневные часы сюда водят детей, и зовется оно тоже приторно-сахарно "Лакомка". От вина Мария отказалась. Мы ели пирожные, пили фруктовую воду и кофе. Мария была в строгом серого цвета сарафане и белой блузке, воротничок которой так прелестно прилегал к изящной шейке и так прелестно контрастировал с глубокой чернотой глаз и так прелестно оттенял румянец молочных щек. На груди под сарафаном приподымалось совсем немного, что тоже выглядело детским.

Я смотрел на нежного ребенка предо мной и задавал себе трезвый, утилитарный вопрос: что мне с этим делать дальше? Ребенок уже не чурался дяди, он уже что-то живо рассказывал мне, и было ль ему догадаться, какие предметы сейчас занимают сидящего рядом дядю, который кивает, поддакивает и смеется: жена, думал дядя... любовница... сын... безденежье... ложь... Беспросветно, так все беспросветно! — нашептывал я себе, честно стараясь отдалиться во власть здравомыслия. Но удавалось мне это плохо, в чем повинна была Мария. Само присутствие ее лишало мою трезвость всякого смысла и делало рассудочность пустопорожней: в ее лице, в детскости и безотчетной печали ее прекрасного взгляда стояло нечто незыблемое, вековечное, длящееся, как

библейское “род проходит и род приходит”, и бремя, тяготившее меня, и от которого, казалось, не было спасения, теперь и здесь, рядом с юной Марией, представало не слишком уж нелегкой ношей — так, мешком из рогожи, где на самом дне лежало что-то... Так и есть, сказал я себе, так все оно и есть, и в общем-то не безнадежно это выглядит, пожалуй, что можно протопать и дальше и не стоять, где стоишь, ты иди и иди, ты встань и иди, *лех-леха!* — на сегодня я знаю две сотни библейских слов, чем заслуженно горд.

В парадной ее дома мы прощались.

— Я вас поцелую, — сказал я.

— Нет, не надо, — с испугом сказала Мария.

— Вот сюда, — постарался я при помощи наречия придать споконную определенность своему деянию: мои замерзшие губы коснулись ее холодной щеки.

В двенадцать ночи я расстался с Марией на двенадцать лет.

Далее следует стихотворение. “Перевернем страницу, перелистнем года” — всего двадцать строк. Оно появилось немедленно вслед за тем, как была дописана фраза “В двенадцать ночи... на двенадцать лет”. Фраза эта, без сомнения, завершила собою определенный повествовательный период. Сам смысл ее предполагает паузу, остановку в перемещении текста как относительно глаз (справа налево и снизу вверх, в силу закона относительности), так и относительно памяти (от не свершившегося к уже исчезнувшему, то есть в силу того же закона), поэтому вполне естественной представляется визуальная и психологическая перебивка повествования, каковой, вероятно, и явился неожиданный для меня самого переход от прозы к стихотворению. Но я не даю себя обмануть. Я не хочу отступлений от избранного строя изложения, какие бы ловушки ни расставляла мне моя неизжитая склонность к стихотворчеству. Если пауза столь уж необходима, в чем я пытаюсь сейчас убедить себя и что в действительности скорее всего отражает лишь мое, сугубо личное восприятие своего же текста, который другими может восприниматься совсем по-иному, то пусть появление паузы будет отмечено этим моим откровенным признанием в собственной слабости — в некорректной, с точки зрения чистой прозы, попытке выйти за ее пределы и удалиться в область чистой поэзии. Пусть будет, как кто-то сказал, керосин отдельно, а молоко отдельно... В конце концов, если мое будущее сложится так, как к нему меня подготовило мое прошлое, этот стих не пропадет,

и только что написанные строки "Перевернем страницу, перелистнем года" я смогу опубликовать в первом же своем поэтическом сборнике. Туда же войдет и стихотворение "Не спотыкайся, загнанный олень", которое при сходных обстоятельствах сочинилось двадцать пять лет назад, когда я начал писать свой первый роман. В текст романа вошли только эта, приведенная здесь строчка и заключительная — "Проходит солнце неба середину", по которым, как удивительно верно заметил один мой критик, нельзя судить о качестве всего стихотворения. Кстати, он потребовал, чтобы я поместил в романе весь этот стих полностью и добавил бы к нему все иные стихи, якобы сочиненные моим героем. Это смехотворное требование меня возмутило до глубины души! С чего вдруг стихи, которые сочинил я сам, мне следует отдать герою, с коим я никак себя не отождествляю? Ссылки на Пастернака в данном случае ни при чем. Ведь, отдав доктору свое кровное, он ничем не пожертвовал, так как всем давным-давно известно, что Пастернак сочиняет стихи, и никому в голову не пришло бы судить о стихах Живаго по не-пастернаковским меркам. Точно так же и Пушкин ничем не пожертвовал, приписывая неаполитанцу свои "Поэт идет: открыты вежды" и "Чертог сиял. Гремели хором" — за стихотворцем-импровизатором стоял сам Пушкин собственной персоной, и ни у кого не могло возникнуть сомнения в том. Поэт может включить в свою прозу стихи; но невозможно, чтобы прозаик посмел поступить точно так же, поскольку, не привыкши видеть в авторе поэта, кто захочет найти хоть какое достоинство в его одном, случайно среди прозы возникшем, стихотворении? Нет уж, надо быть идиотом, чтобы на это рассчитывать. Вот если издать сперва два-три стихотворных сборника, тогда еще можно подумать, тогда, глядишь, "Перевернем страницу, перелистнем года" я, может, и рискну дополнить остальными, числом восемнадцать, строчками. А пока повторю вслед за Чарским: "Правда, я когда-то написал несколько плохих эпитграмм, но, слава Богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу". Конец цитаты.

Итак, стихотворение, играющее роль паузы, которому вполне пристало оказаться вне данного текста. Но, с другой стороны, стихотворение, как я успел сейчас обнаружить, послужило также и вполне удобной связкой между завершенным периодом повествования и периодом, еще не сочиненным, поскольку в стихотворении что ни фраза — то будущее время, и пока стихотворные строки длятся, пауза, изживая самое себя и обращаясь к еще не прошедше-

му, то бишь к не написанному, явственно ведет к продолжению на заключительных словах стихотворения, которые, чтоб связка образовалась, мне все же придется сюда поместить: “Поднимем к небу лица, доверившись весне” — без сомнения, той самой весне 1978 года, с которой повествование начало сочиняться и во время которой, собственно, и двинулось вперед все то, что было прервано тысяча-сто-двенадцатилетнею паузой и еще одним месяцем, в течение которого я не написал ни строчки.

За этот месяц я завершил Великое Прощание. Я посетил места, где некогда начал княжить один из братьев-варягов, положивших, как ошибочно утверждают летописцы прошлого, начала российской государственности. Побывал я и на Кижском погосте и убедился воочию в правоте всех прочитанных мною 378 книг из тех, в которых настойчиво повторялось, что Кижь — это сказка. Я увидел за истекший месяц также многие иные следы ушедших цивилизаций. В связи с этим у меня был случай обсудить с археологами ряд аспектов стратиграфических проблем далекого будущего, когда, открывая культурные слои рубежа II—III тысячелетий нашей эры, науке придется столкнуться с задачей датировок, имея дело лишь с весьма невыразительными и однообразными остатками предметов материальной культуры. Я предположил, что алюминиевые крышки водочных бутылок станут для будущей стратиграфии не менее ценным подспорьем, чем нумизматика и эпиграфика. Я высказал археологам мысль, что полезно было бы уже сейчас приступить к изучению водочных крышек, применив системный подход к проблеме и взявшись за такие ее стороны, как, например, типология, ареалы распространения, миграция и количественный анализ. Эти исследования могли бы лечь в основание нового раздела исторической науки будущего, которую я предложил назвать *спиритографикой*, с каковым названием археологи согласились единодушно. Но это кстати, речь же идет о том, что, ныне завершнное, началось мое Великое Прощание именно ранней весной, незадолго до того, как я начал исписывать эти страницы. На Божий свет тогда явились письма и старые записные книжки, приуготовленные для сожжения, и тогда-то — как помнится, одним апрельским вечером, — среди прочего, в гуде бумаг, разошедшихся по столу, будто густая шуга в ледоход, увиделся мне уголочек записки:

Мне было приятно
обещанный

Книга
пис
Те

Записка была поднята на поверхность, как показал любезный мне стратиграфический анализ, из культурного слоя девятилетней давности. Содержание записки подтверждало этот вывод, полный текст ее был следующим (публикуется впервые; взято в /.../ – неразборчиво) :

Здравствуйте, /.../!

Мне было приятно получить от Вас обещанный подарок. Большое спасибо. Книга Ваша мне понравилась: написана она живо, увлекательно. Теперь немного о себе. У меня все по-старому: учусь на четвертом курсе института, "грызу гранит наук", работаю.

Вот, пожалуй, и все.

Напишите, что у Вас нового?

Мария.

В самом деле, что у нас нового – к концу паузы, к концу связи, к концу третьего года с той поры, как я расстался с Марией? Голова идет кругом, сколько нового! Новая книга (первая), новая жена (вторая), новая профессия (третья), новый дом (четвертый) – как можно догадаться, если я от чего-то и страдаю в это время, то отнюдь не от недостатка новизны. И на вопрос Марии "Что у Вас нового?" я мог бы ответить – кратко или пространно, однако в любом случае достаточно содержательно. Но я не отвечаю ей. Я проявляю элементарную невежливость и тем, наверно, усугубляю распространенное мнение о писателях, как о людях, которым не интересны простые смертные, живущие внизу, у подножия Парнаса. Я не отвечаю Марии, обрывая начинавшуюся было переписку, повторяя еще раз то, что уже совершил однажды – тогда же, когда вернулся в Москву после знакомства с Марией.

Вскоре после этого возвращения я получил письмо от нее, и оно меня испугало. (Письмо пока не обнаружено. Раскопки, проведенные мною в культурном слое 1067 года, не дали резуль-

татов. Вообще, письменные источники того периода весьма мало-численны и плохо сохранились.) Это было очень милое девичье письмо, сквозь наивные строки его проступала надежда — безотчетное желание, чтоб кто-то был, чтоб о чем-то мечталось и чтобы что-то при этом чувствовалось, хорошее и неведомое. Уж конечно, я сумел бы писать ей красивые письма, даже и находясь в положении, когда ничего неведомого и безотчетного испытывать уже не мог, как бы того ни желал. Но как неведомого, так и хорошего в возникающей переписке тоже ничуть не таилось. Девочка же ко мне потянулась — самую малость, да только в девятнадцать-то лет много ли надо, чтоб разыгралось воображение! Вы слишком мало знаете обо мне, намного меньше, чем я о Вас, мне тридцать лет, у меня жена и пятилетний ребенок, а о любовнице, чтобы не оскорбить, Мария, Вашей невинности, упоминать не буду, тем более что она, любовница, дрянь, и мне надо еще набраться только чуть-чуть силы воли, чтобы с нею порвать окончательно, а также двухкомнатная квартира, и все мы очень счастливы, я приступил уже к литературной работе, и когда выйдет в свет моя первая книга, выполню свое обещание и пришлю ее, она напомнит Вам о нашем необычном знакомстве.

Вот так, прекрасная Мария, примерно так я написал, и она оказалась настолько догадливой, что не ответила мне, молодчина, разумная девочка. И переписка оборвалась, и проходят тридцать три с лишним года, я шлю во исполнение обета книгу про Старого Музыканта (моя первая книга, не путать с последней, про Великого Композитора, которую я в недавние майские дни собственноручно преподнес Марии), получаю маленькую записку (см. приведенное выше “Здравствуйте, /.../!” и далее) и решаю не отвечать.

Вы спрашиваете, Мария, что у меня нового? Подробно ответить трудно, Вы слишком мало знаете обо мне, столько же, сколько я о Вас, мне тридцать четыре года, у меня новая жена и восьмилетний ребенок, а о любовнице не упоминаю, потому что ее почти забыл, тем более что она дрянь, и мне надо еще набраться только чуть-чуть силы воли, чтобы забыть ее окончательно, а также новая трехкомнатная квартира, и все мы очень счастливы, я приступил к работе над новой, четвертой, книгой, но я Вам больше ничего нового не пришлю, чтобы ничто не напоминало Вам о нашем старом знакомстве.

Примерно так я решаю не отвечать Марии, и она опять оказывается догадливой, и переписка снова обрывается.

Кроме заботы о Марии, мое невежливое поведение отразило также заботу о моем литературном деле. Я не скажу всей правды, если не добавлю, что руководило мной не в меньшей мере, чем этическое чувство по отношению к чистой, юной девушке, также и профессиональное, достаточно эгоистичное писательское желание. Сразу же после встречи с Марией задумал я написать о нашем знакомстве, но некое чутье подсказывало мне, что для сего неясного замысла продолжение знакомства не станет чем-то животворящим. Ведь маячившая в моем воображении идея была эфемерной, зиждилась, в сущности, на основах надматериального толка, и эта эфемерность легко бы перешла в противоположное себе, в грубую материальность, если бы Действительность, Жизнь и Быт, явленные мне при знакомстве с Марией в необходимом согласии с Прекрасным и Возвышенным, стали бы таковое согласие нарушать и заполнять собою все большую часть пространства, из которого должен был нарождаться рассказ о встрече с Марией. В мире, переполненном реалиями, отягощенном подробностями бытия, земными характерами и обыденными отношениями, нежному эмбриону замысла оставалось бы или погибнуть или развиться в убудка. Почти интуитивно, призвав в союзники мораль и естественный страх обывателя, я дважды не позволил этому случиться — я дважды не позволил, чтобы знакомство с Марией продлилось в какой бы то ни было форме. И благодаря этому Мария, потерянная для меня, втайне тревожила воображение, замысел втайне желал воплощения — в неизвестных мне сферах обитался все долгие годы Возвышенный Образ, и ныне, наконец, в эпоху моих Великих Прощаний, пришел его час!

Я выехал в Ленинград, намереваясь там исполнить в кругу друзей и знакомых классический романс "Для берегов отчизны дальней я покидаю край родной". Незадолго до этого я пел его в Вильнюсе, и романс нашел сочувственный отклик в сердцах моих слушателей. Я настолько сжился с ним, что ночью, просыпаясь на мгновенье и переворачиваясь с боку на бок, бормочу, как свидетельствует жена, свое любимое "Я покидаю край родной". Вероятно, мне следует здесь объясниться по поводу слов романса, предупреждая упреки в неверном цитировании: в известном классическом тексте — глагол прошедшего времени и в женском роде, а местоимение не первого, а второго лица,

там также не "край родной", а "край чужой". Относительно глагола и местоимения скажу, что легкие, так сказать, перемены, подобные произведенным мною, вполне допускаются романсовой традицией, тесно связанной с фольклором, который обычно не сковывает исполнителя догмой письменного первоисточника, тем более если исполнитель желает усилить в звучании романса оттенок личного, интимного. Что касается замены эпитета "чужой" на "родной", то здесь я и вовсе не погрешил. Утверждаю это, держа перед собой растрепанный одномник автора многих и многих романсов и песен, изданный в 1935 году под редакцией романсоведа Б. Томашевского. С этой книгой я прожил всю жизнь, и хотя каких только изданий сего автора ни побывало у меня в руках, с растрепанным одномником я не расстанусь, так что на моей сентиментальности государство заработает десятку в виде пошлины, ежели высокая поэзия слов "Я покидаю край родной" окажется в полном согласии с низкой прозой реальности. Повторяю — "родной" так как (см. примечание на стр. 830 одномника) "в первоначальной редакции первые стихи читались:

Для берегов чужбины дальной
Ты покидала край родной..."

Таким образом, при исполнении романса я лишь использую в первой строке вторую редакцию, а во второй строке — редакцию первую, сознавая, разумеется, что такой подход довольно спорен. Однако трудно спорить с тем, что таковое прочтение оказывается как нельзя более современным.

В Ленинграде выступления мои произвели, пожалуй, даже большую сенсацию, чем несколько раньше в Москве и в Вильнюсе, особенно если учесть, что ленинградцы народ сдержанный. Наибольший успех я имел на квартире одного моего приятеля. Он слышал, как я исполняю романс, еще в Москве, где он навещал меня, но с женой своими впечатлениями не поделился, и теперь она была приятно удивлена, узнав, что у всех нас сходные музыкальные склонности. Все вместе мы несколько раз спели хором песню "Едем мы, друзья, в дальние края" — некогда я заучил эту песню с голоса самого автора, знакомством с которым, признаться, очень горжусь.

Хороший прием был и в остальных концертных залах. Правда, один весьма уважаемый мною певец и тоже писатель, признавая в целом убедительность моей интерпретации романса, сказал,

что он лично запоет его только тогда, когда ему на шею накинута петля. Я выразил сомнение в том, что ему удастся что-либо пропеть на достаточно художественном уровне при сдавленных головных связках. Он ответил на это, что голос может оставаться свободным и при таких стесненных обстоятельствах, если не стремиться к внешнему воспроизведению той музыки, которая звучит внутри. Он пояснил, что важно лишь ощущать себя внутренне свободным, и тогда искусство будет высокохудожественным. Я спросил, имеет ли он в виду диафрагму, за свободой которой вокалисты следят так тщательно, что даже готовы ничего не есть. Он ответил, что и диафрагму тоже, а что касается голодания, то, как частный случай страдания вообще, оно очищает тело и душу и позволяет отвлечься от тягот реальности, увлекая к свободе духовности. Я в свою очередь уверил его, что, возможно, прибегну к голоданию, но только тогда, когда мне на шею тоже накинута петля. Мы решили держать друг друга в курсе событий.

Удивительно! — думал я, когда шел, покинув его, по Литейному мосту. Опять мне советуют голодать! Накануне отъезда я получил от своей знакомой, живущей в Городе Великой Стройки, пространное письмо, в котором эта женщина, страстно влюбленная в музыку (эта страсть была причиной нашего заочного знакомства и многолетней переписки), резко отрицательно отзывалась о романсе, столь мною любимом. Полный текст ее письма хранится в моем архиве, который после того, как я его сжег, с неистребимой настойчивостью стал разрастаться вновь, и я подозреваю, что он не только накапливается, но и восстает из пепла, взяв Феникса за образец, и бумажки-листочки-стишочки снова шевелятся, будто перья под мышками у вещей птицы; и прежде чем огонь опять их спалит, приведу здесь фрагменты письма моей милой знакомой. В квадратные скобки /.../ заключены опущенные места.

/.../, ну почему? Зачем Вы это делаете? Надоело жить? Мне очень больно, ну просто невыносимо. Вы думаете, у Вас ни перед кем и ни перед чем никаких обязательств? Только у животного может быть такой образ жизни — без обязанностей и обязательств. Если бы в тот первый раз, когда я написала Вам, я бы знала, что будет такой финал, я бы прокляла себя. Знаете, кто Вы? Вы неглубокий, дурной, глупый, /.../ человек, конечно, кроме того, что Вы бессовестный и /.../.

Мне очень жаль себя, до слез. Хорош друг! И никогда словечком не обмолвились, дескать, как бы ты посмотрела на такой поступок. А может, у Вас навязчивая идея — /.../? Это можно вылечить. Почитайте книгу "Голод ради лечения". Оказывается, лечебное голодание помогает всем. Вам надо лечиться.

Долго Вы вынашивали эту идею, или она возникла внезапно? И в том и в другом случае хорошо же Вы умеете издеваться: Вы приручили меня, писали мне столько лет, а теперь? Теперь меня к чертям собачьим, да? Вот, знаете, Вы не достойны музыки. Музыка — это святое, высокое, /.../, а Вы гонитесь за каким-то чертом, или Вы /.../. Ваша книга о Великом Композиторе — это Ваш реквием самому себе.

Ваш друг /.../

Недостойн музыки, недостойн, повторял я, пересекая Неву. Уже горели фонари. Гремел на площади Финляндского вокзала оркестр, там все еще происходила историческая встреча, и все еще ворочался броневик, повсюду трепетали флаги, их не сняли после Первомая, берегли к Победе. И разумеется, я неглубокий, дурной и глупый, и о книге — реквием самому себе — как это верно сказано! — и голодание, видимо, очень хорошее средство, я идиот, что к нему не прибегнул, возможно, все было б иначе и ничего бы совсем и не было... И в самом деле, за чем я гонюсь, за каким чертом? Глупо. Дурной, неглубокий и глупый. Но не сумасшедший. Это она перегнула. Написать такое! Этак в психушку недолго попасть — вот, мол, его — то есть мои — друзья его — то есть меня — называют психом. Нет, я неосторожно переписал все эти выражения, употребленные ею в сердцах, в состоянии аффекта — "ненормальный", "психоз", "сумасшедший". Нет, от греха подальше, или я заключу их в квадратные скобки, или они меня. Вычеркнуть. Скобка, три точки и скобка. Так лучше. Таинственной. Но о чем это я? Да, о том, что я ее приручил, реминисценция Экзюпери, теперь это общее место печатных раздумий на темы морали, из них, конечно, и выудила, но по существу-то ей возразить нелегко — виноват, приручал. Вот Марию не приручал. Избежал, обобрав паутинные ниточки сразу, чтобы не запаучил паук в злополучные сети длительных невразумительных связей. И признавайся, потому и вознамерился ты позвонить Марии и потому лишь раскопал забытый номер-номер в зарытой телефонной книжке, что вновь, как в тот, в первый раз,

ты уверен: продолжения не будет, и если даже маловероятное случится и ты ее найдешь, вы свидитесь — и снова навсегда, второе расставанье навсегда, вот почему ты опять попросил паука из темного уголка, чтоб выполз и чтобы завис, пусть паук повисит, много пут не успеет сплести, не успеет рассвет расцвести, как скажу ей прости и начну с первых фраз этот ныне готовый к кончине рассказ. И утро настало.

Сейчас ровно полночь. Около часа назад я вдруг понял, что мне не придется ложиться сегодня, что мне махом и духом придется закончить начатое так давно, еще в мае, — все к рассвету должно быть готово, как в сказке, где строится за ночь дворец. Иного времени уж нет, не будет, так сказал я себе, потому что почувствовал властную силу, влекущую вон и скорее от этих страниц, и если затягивать, передержать, рассусолить, то перегорит и погрязнет, завязнет, покроется ржой и утонет, и тогда уж не выбраться, гибель и мрак. Надо справиться, это легко, в твоей воле писать о Марии не столь многословно, как, может быть, и подобало финалу — наполненному, так сказать, лиризмом, в твоей воле быть кратким, — помнишь ли? — ты жизнь галлюцинации и смерть и триста девяносто девять картин Великого Художника укладывал рядком в могилках ста восьмидесяти девяти страниц, и все в них помещалось, и оставалось место для тебя да вдобавок сколько-то воздуха, — вот на что ты был способен, так что, мой милый, давай-ка теперь умещайся на двух-трех часах, на двух-трех страницах, цепляй слово за слово, время за время, прессуй, уминай, утрамбовывай и воедино своди телефонный весенний звонок с той декабрьской немыслимой встречей, с этой полночью в августе, с белым листом, на котором пишу, и с мгновеньем грядущим, когда кто-нибудь — Мария, может быть, — прочтет о Марии — пра-время, пред-время, до-время, вот-время, за-время, вне-время — в одном эпизоде:

— Здравствуйте. Я вас нашел.

— Здравствуйте.

— Вы будто не удивляетесь.

— Мне мама позвонила. Она сказала, что вы сюда придете.

— Да, представьте! Ваш телефон не изменился.

— Спереди двойка появилась.

— Я догадался. Не было гудков, и я сообразил, что нужна двойка.

— Я бы вас не узнала.

- А я... Нет, пожалуй, узнал бы.
- Старая, да?
- Ну что за ерунда! Вы та же, что и прежде.
- Сколько мне лет, вы знаете?
- М-м... Дайте, я вспомню. Вы были тогда совсем девочкой. Лет десять прошло, чуть больше. Двадцать семь?
- Тридцать один.
- Вы не изменились, честное слово! Как я рад, что вижу вас!
- Зачем вы меня разыскали?
- Чтобы проститься с вами. Я приехал сюда прощаться — с друзьями и с городом.
- Мне мама сказала.
- Скажите правду, вы меня помнили?
- Н-ну... У нас в библиотеке есть ваши книги.
- Бог с ними, с книгами! Вы знаете, ваша мама сказала, что она только на днях вспоминала обо мне и подумала, что я, наверно, должен дать знать о себе. Удивительно, да?
- Я думала, вы никогда не появитесь.
- А вы помните, как мы познакомились?
- В трамвае?
- В трамвае мы вместе долго-долго ехали, целую вечность. А потом я шел за вами на Невском. Помните, я вас все убеждал, что наша встреча необычная?
- Вы что-то говорили. Какой-то рассказ?..
- Верно-верно, Мария, рассказ Некрасова! Вы знаете, Виктор Некрасов уехал?
- Я догадалась. Его книги были в списке.
- В каком списке?
- Нам присылают списки книг, которые изымаются из библиотеки.
- И что же вы с этими книгами делаете?
- Их отвозят в главлит. Сдают под расписку. У них есть для этого специальный склад.
- Сжигают.
- Не знаю. Может быть. Наверно, и ваши?
- Не знаю. Как вы живете, Мария?
- Обыкновенно. Муж. Ребенок.
- Давно вы замужем?
- Шесть лет.
- А ребенку?

— Два.

— Ну и как? Все хорошо?

— Как вам сказать? Иногда трудно — иногда лучше. А вы?

— А я... Не будем говорить обо мне. Еще рано. Пока еще ничего не написано, а когда будет написано — даже хотя бы одно только это стихотворение “Перевернем страницу, перелистнем года”, — вы бы многое обо мне узнали, Мария. Но оно еще не написано, мы с вами разговариваем, а его еще нет. И слов, которые мы произносим, нет. Впрочем, их и не будет, вместо них будут другие слова. Все изменится. Ничто не будет таким, каким было сейчас. Только вы, Мария, останетесь такой, какая вы есть!

— Вы меня придумали.

— Еще нет. Но скоро это случится, и вы, Мария, замкнете круг.

— Круг?

— Да, круг. Один из кругов, составляющих жизнь. Им очертились двенадцать лет, как двенадцать часов циферблата. И там, где он начался, там вступал я в новую жизнь, там же и вы предстали, Мария. Я сказал о циферблате, и вот знаете ли, на нем, как положено, стрелка минутная — длинная, часовая — короче, а годовая — коротенькая совсем, и она-то, коротышечка, снова сейчас точно там, где была двенадцать делений назад. Вот почему вы, Мария, опять передо мною. Круг завершился. И воплощение уже не отстоит от замысла на расстояние в двенадцать лет: год к году подошли и разбежались день за днем, минута за минутой — по словам и буквам, и наконец изжиты все.

Мария от меня уходит. Я стою на углу и смотрю на стройную ее фигурку. Вдруг она поворачивает назад. Мария вспомнила о чем-то и, как видно, решает сказать о недоговоренном. Но она доходит до дверей магазина и скрывается в них.

Всем нам нужны продукты для обеда. Мария опять очертила границы меж сновидением и бытием, опять подала мне свой Знак из грядущего.

Отмеченный первой точкой — той самой точкой, которую я передам как свой вклад во всеобщую Партию, — новый круг начинает свершаться среди этой ночи, осененный словами надежды:

— До встречи, Мария.

Москва

Май — ночь на 20 августа 1978

Лия Владимировна

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Может, привыкнуть пора...
Как рассказать вам про это?
В сердце такая пора,
Будто окончилось лето.
Капает с крыши вода.
Кажется, в тот понедельник
Дождь зарядил навсегда,
Серый и хмурый отшельник.
Снятся дождливые сны.
Милые, крепко ль вам спится?
Мне бы дожить до весны
Или до новой страницы.

Москва, 1970.

* * *

“Гул затих. Я вышел на подмостки”, –
Строчка повторяется опять.
Я прочту про пальмы и березки,
Вам прочту про пальмы и березки,
Северную, южную тетрадь.

“Уходите, мысли, восвояси”, —
Музыка выходит на простор.
Замер зал в страдальческой гримасе,
Зал молчит в страдальческой гримасе,
Как один трагический актер!

“Ты одна мне помощь и отрада”, —
Я вам песню тихую спою.
Что же это? В шуме маскарада
Пляшет зал, в безумье маскарада,
В призрачном раскрашенном раю!

“Я ищу свободы и покоя!”, —
Пляшут тени, падаю ничком.
Отсвет ламп взлетает под рукою,
Под моей безумною рукою —
Пол, внезапно ставший потолком!

“Я ловлю в далеком отголоске”... —
Только лиц мне что-то не видать.
Пляшут вместе пальмы и березки,
Там, на сцене, пальмы и березки
Кружатся, и некого позвать!..

Светлый день, растроченный впустую,
Радость, не дававшую вздохнуть,
Осень, осень, девочку простую,
Жизнь уводит на запасный путь.

“Гул затих. Я вышел на подмости”, —
Вечно повторяется строка.
В марте, на московском перекрестке,
В знак прощанья поднята рука.

1977 г.

* * *

В. С.

О, если бы разговориться
Свободным, внятным языком!
И только знание границы
Сжимает сердце холодком.

Порой кругом неразбериха,
Порою кругом голова, —
И вдруг так звонко и так тихо,
Как слезы, первые слова.

1978.

* * *

А там, где не было надежды,
Где Время — словно под откос,
В сквозных березовых одеждах
Плутала в зной или в мороз.

Кой-как подогнан, без портного,
Косой, заплатаанный наряд.
Как зябко! **Ни руки, ни слова...**
С тенями — тени говорят!

Два времени, две неотвязных,
Две горьких памяти — итог.
Сама с собой в двух жизнях разных
Здоровуюсь через порог.

1978–79.

Л. Владимирова — поэтесса, автор двух стихотворных сборников, в Израиле с 1973 г.

ЛЕВИТАЦИЯ – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПАРЕНИЕ, А НЕ ТО, ЧТОБЫ ЛЕТИ КУДА ХОЧЕШЬ

Дело было под вечер. Жара спала, зато усилилось хищное занудство комарья.

“Ах, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да комары, да мухи”, — распевно, с грустинкой выговорил капитан милиции Дратенко и чертыхнулся досадливо — две эти строчки с самого утра ни к селу ни к городу то и дело срывались с его мясистых уст. “Есенин или Маяковский?” — напрягся он, изморщив лоб, но, вспомнив, что в его школьные годы хулиган Есенин был под запретом, остановился на Маяковском. Надо будет Клашке почитать, мелькнуло у него радостно и, стряхнув оцепененье, он потянулся к телефону. “Нина, это я. Тут вот какое дело... Деша тут срочная пришла из области. Очень опасное, кровавое и, можно сказать, даже вредительское дело одно открылось... Нет, что и как, я, сама знаешь, сказать не имею никакого полного права. В общем, надо теперь облаву устраивать, так что домой я сегодня опять не попаду... Что же сделаешь, — выдал он голосом порцию сердечной огорченности. — Надо. Работа такая. Ну, пока. Не скучай”.

Облегченно вздохнув, он тут же набрал номер продмага, где торговала Клашка, Клавдия Максимовна Бугрова. Надо бы организовать ей домашний телефон, да боязно все-таки, размышлял капитан, и без того разговорчики ползают всякие. Вот и она вчера: “Ты, мол, люди говорят, Вовку мово нарочно в тюрягу упек, чтобы меня верхом оседлать”. “Не крал бы из колхоза что ни попадя, не упек бы”. “Так все ведь воруют!” “Все воруют, да не все попадаются. А Вовка твой — мало ему колхозного добра! — еще и председателей погреб очистил...” Оно, по правде сказать, дело это закрыть — раз плюнуть, и не такие концы прятали, если

надо, но Дратенко давно уже положил глаз на мясистые, игривые Клашкины прелести... Конечно, специально стряпать дело ее алкашу он бы не стал, а так — с какой такой стати он его отмазывать должен? Совершил — получай по закону, да в другой раз не попадайся. К тому же она и сама-то в душе рада радешенька: и в магазине теперь заправляет без страху-оглядки, а потом ведь толку от него как от мужика никакого, только елозил по ней слабо-сильно, зато следил тщательно — как перемигнется с кем, так и фонарь под глазом... Что твоя собака на сене: сам не гам и другому не дам. А то, что она его упреками пилит, это капитан всерьез не брал — так, кочевряжится баба, цену себе набивает. Но хороша, стерва, хороша — ничего не скажешь. И кто только обучил ее всем этим выкрутасам, не Вовка же? Куда ему гунявому! Залетный какой-нибудь, из дачников...

“Клашка, ты? Чего так долго? Обвешивала, что ли, кого?.. Так я к тебе сегодня опять нагряну... интервью брать. Не знаешь? — откинувшись на спинку стула, Дратенко хохотнул и сладострастно напружинил ляжки. — Это из армянского радио мне один сегодня рассказал. Да не он из армянского радио, а анекдоты такие. Говорят: “Машка, приготовься — сегодня на завод иностранцы придут интервью брать”. Она, как ты вот: “А что это такое?” Они ей: “А кто его знает! Но на всякий случай подмойся...” Поняла? — Сочный смех переливчато забулькал в его глотке, и пот оросил толстое в рыжих оспинах лицо. “Так что приготовься — приеду интервью брать... Да не беспокойся ты — машину я найду, где поставить, а к тебе — огородами”.

Дверь начальственно распахнулась, и в кабинет вступил плюгавый мужичонка, бойкие его зыркалки на острой мордочке, мигом обшарив весь кабинет, нахально уставились на капитана.

“Ты чего это, — построжал, насупился Дратенко, — к начальнику милиции, как к теще под юбку, без стука?”

Он знал его, как облупленного, этого Масторбеева, колхозного бригадира из Клашкиного поселка — пройдоха, каких поискать; и на руку не чист, и кляузник первостатейный.

Масторбеев, даже и для приличной видимости не сробев от капитановой строгости, шагнул пыльными кирзачами к столу:

“Не до того, товарищ капитан, не до церемониев нонче, — важно вымолвил он и зачем-то зыркнул глазом на дверь. — Дело государственного назначения”.

Капитан сморщился.

“Ну, выкладывай поживей, а то мне некогда. Недели нет, чтобы ты не приперся с какой-нибудь хреновиной — и все у тебя государственного значения. Пузиков жену что ли измордовал или самогонку опять кто-нибудь затеял?”

Масторбеев на эту язвительность ноль внимания, однако про себя успел, матюгнувшись, пригрозить этому жирному тунеядцу жалобой куда следует и помянуть добрым словом прежнего начальника, который от водки не просыхал и хоть законов в руки в жизни не брал, но, если надо кому по шеям или в кутузку, сей момент оформит. Большой души был человек...

“Моисеева, — спрашивает, — изволите знать? Дачник, который у Проказиных полдома снимает”.

“Ну. Из Москвы он, врач, что ли, из научного института какого-то. И что? Тихий ведь вроде бы”.

“То-то и оно, что тихий. Тихий, а... летает”.

“То есть, в каком это смысле?” — не понял капитан.

“В самом летательном. Летает и все. По ночам”.

Дратенко, приподнявшись со стула, устремился носом сморщенной мордочки в Масторбеева и сильно втянул в себя воздух: пахло самогонным перегаром, не так чтобы сильно, но пахло. “Ясно”, — сказал он и снова плюхнулся на стул. Но Масторбеев и не подумал смутиться, напротив, усмехнулся пренебрежительно и прищурился со значением:

“Я вас, товарищ капитан, всегда уважаю, хоть вы меня и обижаете несправедливо... Не меня нюхать-то надо, а там, — он с генеральской решительностью ткнул пальцем куда-то вдаль. — Как бы не пронюхать...”

“Ну ты это брось, намеки всякие, — осерчал капитан. — А если что разведал, так говори толком. А то: лета-ет! Что он, курица, что ли, чтобы летать?”

“Я же вам русским языком и со всей партийной ответственностью: летает!”

“А ну, мотай отсюда к едрени фени!” — взбеленился капитан и угрожающе приподнялся со стула.

Масторбеев испуганно отшатнулся.

“Да вы что, товарищ капитан, я же вам на полном серьезе, как перед Господом Богом, — зачастил он плаксиво. — Государственного ведь назначения... Я его который день, ночь то есть, стерегу. Он в огород как зайдет, сядет на карачки... Я по-первости думал,

по нужде он... Опять же уборная ведь рядом... Коленки руками подождет — и был таков!..”

Капитан призадумался.

“Может, он из этих индейцев? Ну вот что на голове-то стоят, еще про них кино было недавно. Или и вовсе из цирка, хоть и врач?”

“Никакой он не индеец, он из евреев”.

“Тем более, — возразил капитан. — То есть, — спохватился он, — откуда ты взял? Я же паспорт его смотрел — вроде он русский”.

“Да что вы мне: паспорт! Что я, еврея, что ли, не могу отличить? Перво-наперво, не пьет и фамилию имеет Моисеев... Соображаете? А в-третьих, книги иностранные читает и глаза грустные”.

“Чертовщина какая-то! — озадачился капитан. — Идеализм, хоть стой, хоть падай. И надо же, чтобы именно в моем районе... И что ты предлагаешь?”

“Как что? — Искренне удивился Масторбеев. — Заарестовать его и в каталажку”.

“Арестовать-то не штука, это хоть сейчас, а потом что? А вдруг он это по заданию делает от института своего — испытание там какое или еще что? Я так-то одного схватил — он иконы у старух скупал, — а у него отец замминистром оказался... Вот что, — решил он, сообразив, что ему все равно надо к Клашке в тот поселок ехать, — махнем туда, на месте разберемся”.

Отпустив шофера, капитан сам уселся за руль, и пока их подбрасывало и мотало по колдобинам проселочной дороги, у них созрел план, как им застукать этого летуна на горячем. Газик они поставили возле клуба, где, судя по зашторенным окнам и едва слышному стрекотанию киноаппарата, колхозники вкушали от духовной культуры. Бочком-бочком, с оглядкой, мимо полусгнившего колхозного гумна, по росистому, в коровьих “минах”, лужку они пробрались к задам избы Проказиных и, перешагнув через поваленный плетень, затаились в кустах крыжовника, тихонько матеря злокусачих комаров. Луна хоть и присутствовала, но толку от нее было мало, как и от хилого вольтажа уличной лампочки, однако кое-что разглядеть все же было можно. В соседнем дворе простудно побрехивала собака, где-то у реки хулиганисто визжали девичьи голоса и наяривала гармошка... Земля, несмотря на дневную жару, дышала сыростью, и капитан раздраженно заворчал, обзывая себя доверчивым дураком.

Но вот негромко брякнула дверная щеколда и с крыльца не-

спешно спустилась облаченная во все темное фигура. Капитан и Мاستорбеев поджались, как перед прыжком. Моисеев потоптался у крыльца, подняв очкастое лицо к небу, потом вздохнул протяжно и поплелся, нетвердо ступая в темноте, в огород. Здесь он долго стоял, опять разглядывая небо и что-то негромко гнусая себе под нос, и вдруг присел на корточки и затих, почти совсем неразличимый из-за кустов. Капитан было приподнялся, но Масторбеев, злобно зашипев, потянул его за рукав. Минута тащилась за минутой, а темная, скрюченная в три погибели фигура не шевелилась, и капитан с Масторбеевым, напрягши глаза и по-гусиному вытянув шеи, скрипели зубами, терпя комаров и завидуя трехпогибельному Моисееву, который, видать, мазью какой-то от кровососов намазался. Как вдруг прошелестел протяжный вздох облегчения и как бы радости, и согнутая колесом фигура плавно оторвалась от земли, зависла на миг, распрямилась, растопырив руки-ноги, и взмыла. Пронеслось как бы дуновение, словно с реки свежестью пахло. Оба вскочили на ноги, запрокинув головы вверх — что-то темное мелькнуло в лунном свете и исчезло, растворилось.

“Ну?” — шепотом, торжествующе прохрипел Масторбеев.

“Да-а, — вынужден был согласиться капитан, зябко поводя плечами. — Вот так хреновина. С майором, что ли, связаться или как? Может, прямо с Москвой? Черт его знает!”

“Это все успеется... Сперва заарестовать, а то они понаедут, а нам, как всегда, шиш на постном масле — ни медали, ни премии”.

Капитан задумчиво ковырнул в носу:

“Значит так. Что научный опыт — это исключается, поскольку в огороде какая же наука, да еще ночью. Выходит, что шпион — может, даже израильский. Не иначе. И, значит, так просто он нам не дастся. Надо наряд вызывать”.

“Да мы что — пальцем, что ли, деланные? Сами управимся!” — заволновался Масторбеев, чувствуя, как премия и почет уплывают из рук.

“Со шпионом?” — усомнился капитан.

“Да не шпион он!” — как-то сдавленно вырвалось у Масторбеева.

“А ты откуда знаешь? — насторожился капитан.

“Я, как бы вам это разъяснить... Он видел, что я видел... В общем, он знает, что я знаю об его летаниях. И если бы шпион, так смотался бы давно”.

“Какого же черта ты, дубина колхозная, молчал? Чего же нам его тогда арестовывать, если он не шпион?”

“Да вы что?! — обиделся и возмущился Мاستорбеев. — Перво-наперво, ночью летает, это раз, во-вторых, может, он тренирует опыт, чтобы в Израиль этот ихний смыться, это уже два, а потом, если всякий начнет по небу шастать, это что же будет, как же тогда милиция следить станет? Это три...”

“Так-то оно так, только на неприятность бы не нарваться... А когда он, думаешь, приземлится?”

“Раз на раз не приходится. С часок бывает, а другой раз меньше. Мы с вами, товарищ капитан, давайте пока на улицу, а как свет у него в окошке загорится, мы к нему сразу: “Хенде хох!” и все”.

“Не так это просто без прокурорской-то санкции... А впрочем, черт с ним, с прокурором этим — подпишет, если что, задним числом. Факт ведь налицо — летает в ночное время!.. Пошли”.

Но едва они выбрались из кустов, в воздухе прошелестело и метрах в трех от них плавно приземлилась темная шарообразная масса. Мاستорбеев резко присел и затаился, а капитан неожиданно для себя шагнул вперед и, выхватив из предусмотрительно растегнутой кобуры пистолет системы Макарова, выкрикнул хриплым от волнения басом:

“Эт-та что такое? Почему порядок нарушаете? Руки вверх! Вы окружены со всех сторон — буду стрелять насмерть!”

“Охо-хо, — раздался протяжный унылый вздох и Моисеев выпрямился во весь свой немалый рост. — Выследили-таки... Куда же от вас денешься? Небось, думаете, шпиона зацапали? А где же этот проныра Мاستурбантов? Без него тут не обошлось...”

“Я-то тут, — подал голос Мاستорбеев и подшагнул к ним. — А вы бы, гражданин якобы врач, поменьше трепались”.

“Не давайте ему на карачки садиться, — зашептал он капитану. — Улетит”.

“Не улечу, — заверил их догадливый враг. — Не так это, к сожалению, просто... Ну что же, раз уж так сложилось, прошу в мои хоромы. Куда же от вас денешься... Да пистолетик-то свой спрячьте”.

Капитан пистолет хоть и спрятал, но кобуру на всякий случай не застегнул. Переступив порог, он цепким милицейским оком обшарил все углы — ничего подозрительного вроде бы не наблю-

дальше. Моисеев не суетился и не лебезил, чем очень сбивал капитана с толку.

Расселись по табуреткам.

“Как же так, гражданин хороший? — укоризненно начал капитан. — Летаете без всякого разрешения да еще ночью”.

“А разве запрещено?”

“Но и не разрешено”, — сразил его, прищурившись, капитан. Очкарик только усмехнулся — то ли печально, то ли с издевкой.

“Вы от института какого или сами от себя?”

“От себя”.

“Гм. И как это вы? Летаете то есть...”

“Летаю-то?.. Ну, если быть точным, это не столько полет, сколько левитация... парение, значит”.

“И высоко достигаєте?”

“Когда как”.

“Да-а... А вы нам все-таки объясните, как это у вас получается”.

“Ну что вам сказать, капитан...?”

“Дратенко моя фамилия, капитан Дратенко”.

“В человеке уйма всяких сил и возможностей, он и сотую часть их в себе не подозревает и не умеет использовать. Слышали, наверное, что под гипнозом даже и слабак такие грузы ворочает, что не всякой лошади под силу?”

“Нам бы такого фокусника в председатели, а то лошадей нет, а колхознички — одни старички-слабачки да бабье”, — не удержался, съязвил Масторбеев, но тут же сник под строгим взглядом капитана.

Моисеев, не без удивления обернувшись к колхозному бригадиру, усмехнулся и продолжал:

“Или когда от смерти кривой-хромой бежит, так, бывает, через такие заборы перемахивает — никакой рекордсмен прыгун не возьмет... Есть, значит, в человеке неиспользованные и даже неоткрытые потенциалы, возможности то есть, и когда...”

“Выходит, всякий может летать? И я? — не дослушал капитан.

“И вы”, — подтвердил Моисеев, но как-то не очень бодро.

“А что для этого надо?” — оживился Дратенко.

“Совсем чуть-чуть, — глаза под очками прикрылись веками, а уголки губ непонятно дрогнули. — Уметь отключаться от всякой суеты, от всех очищаться тяжелых, низменных мыслей и желаний. Уйти в себя, сосредоточиться и... воспарить”.

“Он и через стены может насквозь проникать”, — подал голос Масторбеев.

“Не могу, — покачал тот головой. — Я ведь уже объяснял вам вчера, что в принципе это возможно, но мне это ни к чему”.

“Это, выходит, вам и тюрьма не страшна?” — энергично прищурился, прицелился капитан в понурого, культурного бронеца.

“Кто про что, — на этот раз нескрываемо грустно усмехнулся Моисеев и, сняв очки, протер их носовым платком. — Этот вот юркий и похвально бдительный товарищ, — кивнул он на Масторбеева, — вчера настойчиво рекомендовал мне срочно обучиться хождению сквозь стены, чтобы снабжать его деньгами и водкой из магазина. А то, говорит, сдам тебя в милицию”.

“Это я для проверки, товарищ капитан! — вскричал, вздрогнув, Масторбеев. — Чтобы, значит, разведать, согласится он или нет”.

“Сиди ты!” — укротил его Дратенко и задумался тревожно. Черт его, беса нерусского, знает — может, он уже шныряет через стены, а только прикидывается, что нет. А если он вчера видел, какие мы с Клашкой фортеля загибаем? Враз аморалку пришьют... Только вряд ли — больно уж очкастый, культурный, вряд ли его такие штучки интересуют... А с другой стороны, куда же это годится, если всякий...

“Послушайте, — уперся он пронизательно в глаза за стеклами очков, — а вы подумали, куда же это к чертовой матери годится, если всякий начнет летать да сквозь стены проникать?”

“Вы в сыском, что ли, смысле?”

“Да. В смысле охраны государственного и личного имущества... и политической бдительности тоже”.

“Так ведь если всякий, то и вы тоже — летайте и проникайте себе на здоровье...”

“То-то и оно, что не всякий, — суетливо подхватился с табурета Масторбеев. — Не всякий, а только которые в очках, да шибко грамотные!”

Капитан, не сообразив сразу, оторопел:

“В каком, то есть, смысле? А ведь верно. Вот вы, — снова впился он в хитрого летуна, — говорите: сосредоточиться и закрыть глаза на все... Страна там, к примеру, БАМ строит, подымает сельское хозяйство, борется с пьянством-хулиганством, а вам, выходит, все это до фени? Вы себе порхаете?”

“Вон вы куда гнете, капитан...?”

“Дратенко”.

“Капитан Дратенко. Чуть ли не на идеологическую диверсию гнете?.. Но вы не забывайте, что левитирую-то я только по вечерам, а днем я, как все”.

“Вы по вечерам, а другой начнет с утра до ночи, — не сдавался капитан. — Да и опять же, как вот представитель колхозной общественности говорит, — тут Дратенко кивнул на загордившегося Масторбеева, — не все умеют сосредоточиться и наплевать на жизненно насущные интересы нашей родины в тисках и окружении капиталистических хищников, которых мы, если они на нас попрут, враз уничтожим нашим ядерным потенциалом... В такой сложной международной обстановке сосредоточиваться и начитательски относиться не каждому чистая совесть и долг позволяют... Выходит, вы себе будете летать туда-сюда, а мы на вас глазами хлопать? Опять классовое общество выходит? Как при царе Николашке?”

“Так вопрос ставите? — вяло удивился Моисеев. — Любопытно. Однако поймите, как только что-либо делается всеобщим достоянием...”

“Не всеобщим, — мгновенно уличил его капитан, — а тех только, которые могут”.

“Ну это уже от каждого зависит: если здорово захочет, то — пожалуйста... Впрочем, я вас очень понимаю: у вас в первую голову все же сыскные интересы на уме. Успокойтесь, капитан... как вас? Не важно... Не переживайте: как только у государства возникнет потребность, чтобы капитаны милиции не только летали, но и летали быстрее и дальше прочих граждан, оно бросит в эту область все свои мощности — и будете вы пронзать облака, обгоняя всех воров и вредителей... А то, что вам не под силу отрешиться и сосредоточиться, это тоже чепуха — прикажут вам полететь и полетите, как миленький, а не то срочно изобретут какой-нибудь полупроводниковый пропеллер и будут вставлять его в капитанские задницы...”

“Вы, гражданин врач, не забывайтесь!” — капитан поджал толстые губы, чтобы показать, что обиделся.

“Не нравится, можете уйти... На дворе уже ночь, а ночью, как известно, для посещения частного дома даже милиция нуждается в спецсанкциях”.

“Во-он вы какие грамотные! — не на шутку разозлился капитан,

смертно не терпевший, чтобы его носом в закон тыкали. — Не вы ли нас сами пригласили?”

“Пригласил, а теперь раздумал”.

Не такой уж он и культурный, этот брюнет, если бдительно приглядеться, и щека подергивается — нервность скрывает.

“А если я о ваших летаниях в органы?”

“Опоздали. Уж не думаете ли вы, что эти самые органы не в курсе? Плохого же вы о них мнения... Меня уже и в разведку заставляли и в сексоты... — Моисеев запнулся, опомнившись. — Я, конечно, не против, но не сейчас... И подписку о неразглашении взяли, и сюда я приехал тренироваться с их ведома, а жену с дочкой в Москве заложниками, так сказать, оставил... Так что не суетитесь, капитан”.

Масторбеев нервно заелозил по табурету, перебирая ногами, как горячий жеребец: что органы в курсе, он и не думал верить, поскольку тогда — и дураку ясно! — за каждым бы кустом тихари горбились, но он занервничал, как бы и капитан про то не допер и не опередил бы телефоном его донесение, посланное утренней почтой.

“Вот оно что, — бодро сказал капитан, сам сникнув внутри. — Выходит, говорите, органы в курсе... Ну это еще проверить, конечно, надо. А как же, так и должно быть — на то и органы. Вы хоть и не из евреев вроде бы по паспорту... Или как?”

“И по паспорту, и на самом деле. А что?”

“Да нет, это я так. У нас равенство народов и наций. Но вы же знаете!”

“Что евреи-то эмигрируют, так и я бы не улетел, что ли?”

“Вроде того”.

“Не улечу, не переживайте. А евреи что же, пусть едут. Что это вас так нервирует?”

“Да я бы вообще выслал всех их к чертовой бабушке! Но на них ведь другие смотрят. Знаете, как несознательный народ-то рассуждает: если, дескать, евреи едут в капитализм, так, выходит, там и вправду лучше — евреи-де знают, куда ехать”.

Замолчали. Как бы мне эту замухрышку попереть отсюда, под предлогом каким, мучился капитан. С глазу бы на глаз поговорить — может, откроется, в чем секрет. Насчет умения отключаться и силу воли напрягать — это он пыль в глаза пускает. Наверное, мазью какой мажется или еще что-нибудь. Вот бы мне... Летать-то — хрен с ним, а если бы сквозь стены!.. Первым бы делом шасть

к майору в кабинет: какие такие на меня кляузы в папочке хранишь? А за что, про что директор пивнушки деньги тебе дает? И в эту же субботу в женскую бы баню проник. Да что в субботу! В первый бы вечер к Верке Куняевой сквозь стену — только из школы еще, а такая уже вся пухлявая из себя, столько у нее этих развратных изгибов и ямочек по всему корпусу... И глазки строит... Он зажмурился и вздрогнул, снова вздрогнул и крикнул и нахмурился, взглянул на Масторбеева, мигнул ему начальственно и качнул головой в сторону двери: выйди, мол, у меня дело государственной важности. Но Масторбееву на государственные интересы плевать, он как будто не понял, кручинясь про себя разным разностям и всячески лая капитана, на которого зря он понадеялся, чтобы напугать и заарестовать летуна, а тут еще нервная опасность, как бы эта милицейская крыса не смикитила и не обскакала его с доносом...

“Боже мой, — тайно горевал Моисеев, — теперь все. Не дадут они мне парить, растреплются, разболтают, надоносничают”.

Он наврал им, что органы знают, чтобы хоть как-то оттянуть неизбежное. Но теперь все, теперь уж узнают непременно, и завертится, зашипит зловеющая карусель... Он будет от всего отпираться, но парить ему теперь все равно не дадут. Прощай, нежное мерцание звезд, хрустальная музыка сфер... Летать он так и не успел научиться, парить — да, а летать — еще нет.

“Ну что же”, — поднялся капитан.

Брехню насчет органов он в конце концов тоже угадал, но промолчал и обнадежился (раз врет — боится) и вдохновился на хитрый милицейский маневр: как бы уйти, а потом, отделавшись от проныры Масторбеева, вернуться и угрозами ли, угровами ли — там видно будет — выудить у этого очкарика его секрет, прежде чем в него по-бульдожьки вцепятся ребята из госбезопасности. А вообще-то надо написать, чтобы запретить летать. А что тюрьма ему не страшна, если даже и не врет, что одной волей летает, хотя это сплошной идеализм и бабушкины сказки, так можно и в психушку, к буйным — там не больно сосредоточиться, да и уколы всякие, от которых в голове пусто, а на сердце веселье беспричинное, будет себе приплясывать да напевать целый день — не до летаний сделается.

“До свиданья, — протянул он цепкую руку. — Эх, лето красное, любил бы я тебя... Маяковского уважаете?”

“Это Пушкин, Александр Сергеевич”.

“А не Маяковский?” — чуть-чуть сконфузился капитан.

“Никак нет”.

“Хороших вам, как говорится, снов”, — сунул и свою, неожиданно, пухлую ладошку Маторбеев.

Это он меня спровадить лукавит, беспокойно шевелил он мозгами насчет капитана. Чтобы секрет выпытать. Ну уж дудки! Если этот мент поганый начнет сквозь стены проникать — ой-ей-ей! — хоть сам в Израиль беги. Завтра же, решил он окончательно, телеграмму-молнию в Москву: лично, мол, разоблачил с риском для жизни и здоровья, и что он агитацию вражескую разводил, чтобы все плевали на поднимание сельского хозяйства и на великие стройки будущего, а чтобы все только летали и пусть, мол, евреи уезжают, так как им здесь при нашем народном строе плохо... А капитан Дратенко, несмотря на бдительный призыв, не заарестовал.

Расставшись у калитки, капитан и Маторбеев минут через пятнадцать снова столкнулись возле нее. Маторбеев успел приложиться и потому был нетверд на ногах, в кармане у него нежно побулькивала недопитая пол-литра рядом с коряво исписанным листом бумаги.

“Сколько лет, сколько зим!” — вскричал он, вроде как удивленно.

“Вот сволочь!” — выругался про себя капитан, а вслух сказал озабоченно:

“Только что я связался с Москвой — приказано еще раз поговорить с ним по душам, прежде чем окончательные меры принимать... Так что ты, спасибо тебе за помощь, иди своей дорогой — не путайся тут под ногами”.

“А я ничего, я на минутку только — картуз там забыл”, — извернулся Маторбеев, ни на грош не веря капитану и возрадовавшись, что так ловко оставил для правдоподобия картуз у себя дома.

Дратенко досадливо крикнул:

“Но чтобы мигом — бери и чтобы духу твоего не пахло!”

На стук в дверь никто не отозвался, хотя занавеска на одном из окон и приподнялась, выпустив в ночную темь рваный клочок света, приподнялась и снова опустилась. Выждав минуту, капитан забарабанил энергичнее.

Тоскливо постанывая, обхватив голову руками, Моисеев сидел на корявом табурете. В дверь застучали еще крепче. Он, сунув в

уши ватные тампоны, опустился на пол, закрыл глаза и забормотал что-то под нос, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, глубоко вздохнул, медленно выдохнул и замер...

“Скорей, скорей! Улетит ведь!” — теребил капитана за рукав Маторбеев.

Капитан, обежав вокруг дома и убедившись, что все окна закрыты, поставил Маторбеева на углу — следить, чтобы враг не улизнул через чердак, трубу или окно, а сам, порывшись в планшете, извлек связку ключей и зазвякал ими, примериваясь к нехитрому замку. Наконец замок, натужливо скрипнув, поддался. Откинув щеколду ножом, капитан с маху ввалился в избу. Никого. Он на кухню — никого, под кровать — пусто, на печи — ржавый велосипед, бегом на чердак с фонарем в одной руке и пистолетом в другой — только сенная труха десятилетней давности, в погребе — могильная сырость и липкая паутина...

“Смылся гад?” — капитан растерянно плюхнулся на табуретку, отирая со лба пот.

“Я же говорил: шпион! — почти плакал Маторбеев. — Улетел!.. Ох и не поглядят нас по головке, ох и не поглядят.. Улетел, падла!”

Они заблуждались самым глупейшим образом — он не улетел. Во-первых, он не умел как следует летать, только еще учился, а во-вторых, подняться в воздух, когда на сердце горькая смута, а жизнь нахально тарабанит в дверь, практически невозможно: воспарить удастся лишь тогда, когда в душе тишина и покой, и все земное отлетает далеко-далеко, все земное, склочное, сволочное, милицейское... Надо очень долго глубоко и ровно дышать, осторожно, неспешно, но и бестрепетно выжимая из души все плотское, суетное, тяжелое, и только после того, как тихонько и хрустально зазвенит в ушах, неспешно выйти в темноту, негромко бормоча: “Эх, лето красное, любил бы я тебя...” иль вообще любые строчки из любых поэтов... присесть, сжавшись в комок, напрычься и...

Но когда барабанят в дверь, он не мог воспарить. Зато он мог провалиться сквозь землю. И он провалился. А что ему еще оставалось делать? Жена — скучная стерва, дочь — вся в мамашу, а тут

уже КГБ пахнет, а летать ему еще учиться и учиться и главное, тишины-покоя уже не будет никогда, раз нет тайны — они так хрупки, тишина и покой, любой милиционер, любой Мастурбантов может походя разбить их вдребезги... Летать, чтобы улететь, он так и не успел научиться. И он провалился сквозь землю. А что же ему еще оставалось делать?

21—23.7.79 г.

Э. Кузнецов (р. 1939) — учился на философском факультете МГУ, в 1962 г. приговорен к 7 годам лагерей, в 1970 г. вторично арестован за попытку бегства в Израиль, приговорен к расстрелу, замененному 15 годами лагерей, обменен на советских шпионов в апреле 1978 г., тогда же прибыл в Израиль, работает на израильском радио.

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свідательства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Адрес редакции и конторы: 217, r. du Fbg St-Honore, 75008-Paris France.

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Ю. Милославскому

По гололеду, вдаль, по льду
пойду искать свою удачу.
Коль оскользнусь, я не заплачу,
дорогу уступая зрячим,
я встану и опять пойду.

Вот так три месяца в году,
стирая морду о беду,
всю зиму, весь январский холод
ищу удачу я. Но ходит
за мною "некто без лица".
Он злые завтра мне пророчит,
он всех друзей моих порочит,
он мне толкует без конца
о том, что чьей-то смерти хочет.

Вот и вчера принес он вести
о страшных пытках. Об аресте
людей каких-то. И опять
не мог я спать. Не мог я спать.

Со мною он ведет себя,
как будто я виновен в чем-то,
он, видимо, приятель черта,
он мой палач, он мне судья,

но я люблю его. Во мне
его душа нашла удачу.
Мы только вместе что-то значим.
Я с ним бытую наравне
и не могу уже иначе.

1972.

ПРОВОДЫ

Ю. Кучукову

Саквояжи, чемоданы,
сумки, сетки, узелки...
Сердце рвется на куски.
Не со злобы ли?
С тоски.

Как в дорогу вас провожали,
не запишут про то в скрижали,
ни в каком Новейшем Завете
не расскажут прощания эти.
Не заучат. А надо бы, надо
не забыть вокзального ада,
как вокруг топтуны топтались,
как расстались мы, как остались.
Слово за слово, слово в слово
повторю расставанья снова,
затвержу до рыдания, до крика,
боль не в счет, лишь одна усталость
да кувшинное рыло шпика
от перронов этих остались.

Уезжайте, родные. Горя
не поведать, не снять словами.
Мне бы только у дальнего моря
хоть к закату встретиться с вами.

1974.

Л. К.

Проститься бы мне с тобою
прощенной. Поможет Бог.
Простится ли, что судьбою,
дорогой своей, бедою
назначенной пренебрег.

Лютеют январские казни,
а в праздник
ресницы твои зелены,
и это предвестье весны,
и мартовской сладости прежней,
и слабости,
и пустяков,
и слов, беззастенчиво нежных,
как облачко мотыльков,
из самой легчайшей одежды,
без шубы, перчаток, платков.

И холод не в холод, не в ярость,
не в казни, не в злобу, не в страх,
когда васильковая яркость,
и смерть, и спасенье, и ясность,
и зелень сияют в глазах.

1975.

КОМАРОВО

И в семьдесят пятом к тебе пришел
зимою, в конце ноября,
но было тепло и так хорошо,
что снег принимала земля
в себя и стволы свои,
и стволы под снегом стояли так,
что солнечный свет расточал похвалы
стволам, и заливу, и горстке золы,

и это был верный знак
тому, что не следует горевать,
но только легко грустить,
что так хорошо у сосны лежать
и так спокойно не жить.

1975.

* * *

“Играй, не плачь,
Ну что ты, что ты...”
А. Кушнер

Не желаю фальшивых речей.
Что мне запад, восток.
Я без родины, я ничей,
как ручей и листок.

Как бегущий ручей по камням,
лист летящий, сухой.
Отступитесь, оставьте меня!
Отпустите домой!

Где мой дом, где мой сад,
свет в окне?
В темноте не найдешь.
Что ж, еврейская скрипочка, мне
душу надвое рвешь?

Обещаешь ли что? Лжешь?
Иль кого веселишь?
Или, может быть, острый нож
меж лопаток сулишь?

Только все это — бред, блажь.
Пой же, скрипочка, пой,
что ничей я — не их, не ваш.
Отпустите домой!

1977.

* * *

М. П.

О нет, не память, а забвенье
осипло голосит листва.
Как страшно наше поколение —
Иван, не помнящий родства.

Так холодно в моей квартире
и лица всех нехороши,
как будто умер Бог, и в мире
нет ни одной живой души.

1979,
Мевассерет Цион.

А. Верник (р. 1948) — учился в Харьковском радиотехникуме и университете. В Израиле с 1978 г.

СПРАВОЧНИК ЭМИГРАЦИИ!!!

Новое коммерческое издание с биографическими данными эмигрантов из СССР, независимо от страны, в которой они сейчас живут. Все политич. деятели, быв. политзаключенные, религ. деятели, ученые, писатели, журналисты, деятели искусств, предприниматели, врачи, адвокаты, специалисты в разных областях будут включены в справочник безо всякой дискриминации.

По желанию в справочнике могут быть опубликованы также рекламные сведения об организациях, предприятиях, издательствах, ресторанах, галереях, основанных эмигрантами.

Каждый заинтересованный должен направить запрос по адресу: Р.О.В. 24027, Mount Scopus, Иерусалим, с приложением конверта с оплаченным ответом и надписанным на конверте обратным адресом. Желающим будет выслан вопросник.

ЭТОТ СПРАВОЧНИК НА МНОГИЕ ГОДЫ БУДЕТ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИГРАЦИИ. ОН ПОЗНАКОМИТ ВАС ДРУГ С ДРУГОМ. ОН ПОЗВОЛИТ ВАМ СОХРАНИТЬ МНОГИЕ СТАРЫЕ СВЯЗИ И ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ.

Copyright "АРХЕОН"

ДОМИНО

— Это тебе не ц в е т о м играть, — говорил дядя Сеня-охранник.

— Бей своих, чтоб чужие боялись, — отвечал дед Швидун.

— Та сыграю ж я у бабушки, — страшно усмехался сапожник Захар.

— Играть надо честно.

Не было у дяди Гриши — рыжего и седого, с твердым коротким носом — сил на честность по работе слесарной, покупке базарной и магазинной: всюду базлала, стреляла слюнками с губ — или светло молчала — брехня собачья. И перенес дядя Гриша свою честность в квартиру однокомнатную — на толстую жену Валю и дочку Валерию, на игру дворовую в домино — на Сеню, Захара, Ивана Петровича, отставного мичмана российского императорского военно-морского флота, и на представителя кавказской народности алкаша Мишку Фасарьяна.

Играть с ним — мука, жить с ним — каждый вечер Валя плачет: "Идиот проклятый, — кричит, — дурак притыренный!"

Уполномоченный по дому товарищ Климовский неоднократно разговаривал с дядей Гришей совершенно откровенно:

Юрий Милославский

ДВА РАССКАЗА

“Я, Григорий Иванович, как вам известно, сам пострадал от нарушений социалистической законности”.

Но вскоре перестал. Не было дяде Грише дела до социалистической законности, не это имел он в виду, а имел он в виду честность, которую, между прочим, вообще никакая законность в виду не имеет. Так что невозможно было товарищу Климовскому организовать себе недостающий фактор для восстановления в КПСС при помощи дяди Гриши.

С дочкой дядя Гриша придумал такую штуку.

Купил в рассрочку магнитофон (долго давать не хотели: зарплата у дяди Гриши восемьдесят рублей в месяц приблизительно, а магнитофон “Вега” — сто семьдесят, точно). И всякий раз, когда совершала его Лерка нехорошие поступки, записывал дядя Гриша на магнитофон ее просьбы о прощении и клятвы. Например, получила Лерка тройку по ботанике и замечание в дневнике: “Смеялась и сорила на уроке. Кл. рук. Меерзон Ф. И.”

— Папа, — распяливает Лерка глаза, — даю честное слово, что я больше не буду. Клянусь мамой.

Через три дня снова запись в дневнике и тройка по тычинкам и пестикам.

Тогда приделал дядя Гриша к магнитофону длинный шнур вплоть до домашней розетки, выволок бандуру во двор, поставил на столик для домино, позвал поближе соседей — оказался на месте товарищ Климовский, телевизионный мастер Марик Ройхман, да Фасарьян гнил на солнышке, бухарик, соки пускал, — притащил Лерку в слезах. И включил воспроизведение. “Папа, — хрипит магнитофон, — я больше не буду. Клянусь мамой”.

— Так, — отчаянным голосом говорит дядя Гриша, и видно, что он не дурью мучается, не выступает, а в самом деле разрывается у него сердце, — так. Родиной ты клялась. Лениным клялась. Матерью... — засекает у него дыхание, — клялась. Чем же ж ты обратно клясться будешь? Отой собачкой Жучкой?

Жучка сидит возле Фасарьяна и, услышав свое прозвание, колотит хвостом, выбивая пыль из Фасарьяновой гнусной штанины.

— Папа, папонька, папусенька, я не хотела, я клянусь, — пропадает Лерка, захлебывается и икает.

— Надо ч е с т н о поступать, — дрожит рот у дяди Гриши.
— Ты сказала ч е с т н о е слово, так надо делать, раз сказала. Ч е с т н о поступать, а не брехать.

— Пионеры должны отлично учиться и отлично вести себя на уроках, на улице и дома, — говорит товарищ Климовский.

В домино играли долго — с шести вечера до одиннадцати ночи, на ощупь; играли на высадку: четыре человека играют, а остальные, разделенные попарно, ждут, пока продует какая-нибудь несчастливая двойка и под веселый “вылезай” уступит место. Играли в “простого козла” — дело азартное, хитрое, требующее наглости, памяти, умения сыграть “на партнера”, дать ему развернуться, — потому как самое главное: не играть “на себя”... Специалисты знают.

Летом достроили в нашем большом дворе добавочный домик в четыре этажа — шестнадцать квартир. В пятнадцать въехали сотрудники НИИ “Электропроект”, а в одну, на втором этаже под номером 6, прибыл с семьей капитан КГБ Мирошниченко — тоже Гриша, Григорий Сергеевич.

Само собой, в нашем городе был спецдом. Но Мирошниченки прибыли к нам месяц назад, в спецдоме квартир не было, а под второй спецдом ничего не выделили.

Не верую я ни в какие тонкие чувства, но вполне допускаю, что работники КГБ и неработники КГБ сознают, какая есть между ними разница: работники по необходимости сажают неработников. То есть, если, скажем, Мишка Фасарьян потребует отделения Армении от СССР, то Гриша Мирошниченко его за это посадит. В то же самое время если Гриша Мирошниченко захочет отделить СССР от Армении, а Мишка Фасарьян с этим не согласится, то ничего он Грише сделать не сможет. Не посадит. И опять-таки наоборот: если Грише Мирошниченке не понравится Мишкино несогласие, он, Гриша, может фасарьяновский протест ликвидировать — посадить Мишку, чтоб не протестовал.

А так как нет у них таких и подобных планов, то и делить им нечего. Остается запредельное, внесловесное неудобство — вот почему и нужны спецдома. Это и для работников хорошо, и для неработников.

Первое, что сделал капитан Мирошниченко в нашем дворе по Красноармейской 17: переименовал он дядю Гришу в Гриню — для удобства распознавания. Очень возможно, что говорило в нем это самое запредельное: ведь если оба будут Гришами, то потребуются уточнения в разговорах. А какие могут быть уточнения? “Это который Гриша? Наш или тот, что из КГБ?”

Дядя Гриша переименования не принял. Но ничего не сказал. Ясно ему было, что это — брехня собачья: не Валина, не Леркина, не Захарова, а та брехня, из-за которой он, сам того не желая, семью психами сделал, свалив на нее всю свою честность...

— Здравствуй, Гриня, — присаживается веселый Мирошниченко к доминошному столику.

— А, к а п и т а н пришел, — значительно улыбается дядя Гриша. — Ну как оно, ничего? Работаете?

Ничего не слышит Мирошниченко. Нигде он не работает, никаких намеков не понимает, глаза у него черные, яркие, загорелый он и убежденный во всем своем. И не может ему Гриня нанести никакого видимого ущерба.

— Надо будет деревья обкопать возле подъезда, — заботится Мирошниченко. — В субботу утречком выйдем и обкопаем, а то пока дождешься...

— Я за неделю науродовался до всрачки!! — как стаканом о броню разлетается дядя Гриша. — Надо отдохнуть! То ты там у с е б я командуй! Я с пяти утра на ногах, как т е т а м — т в о и... Тебе надо — иди копай! То т е б е полезно попробовать, как копают...

— Не, Гриня, всем нам полезно утречком воздухом подышать, — стряхивает осколки капитан Мирошниченко. — А то, что устал — так наоборот, хорошо для организма, для нервной системы. И детям зелень во дворе нужна, приятно.

Дед Швидун все понимает. Все все понимают.

— Ну давай в "морского козла"! — предлагает капитан.

И опять дядя Гриша залуцается:

— То т а м у в а с так играют, наверно, а мы тут всегда играем в простого, потому что надо, чтобы все хотя по разу сыграли. "Морской козел" длинный, как какой-нибудь преферанс.

— Та ты не умеешь играть, Гриня, привык в детское домино с двумя камнями между ногами без базара! — хохочет Мирошниченко.

Дядя Гриша костенеет добела:

— Я вже забыл то, что ты знаешь.

Не умеет дядя Гриша вернуть никакой обиды, нет у него ответного удара, сразу обмирает в нем сила. Вот и теперь ответил дурными непонятными словами, подслушанными во время ссоры инженера Канторовича с терапевтом Фейгиным.

Дед Швидун начинает громко перекачивать костяшки домино, приговаривая:

— Давай, давай, хлопцы, сыграем партию: Гриша с Гришей, я — с Иваном Петровичем.

К началу августа сын дядьки Захара Павло провел к доминошному столику электричество, прибил пластмассовую пластинку к столешнице — играть стало громче, резче. Так что Гриша Мирошниченко порешил забросить другой двор, куда ходил по вечерам за "морским козлом".

Сели играть в таком составе: дядя Гриша с Мирошниченкой (чтоб создать нормальные взаимоотношения, а то всем неловко), дядька Захар со Швидуном. Ждали своей очереди: персональный пенсионер республиканского значения дед Белов, Петя Кравчук с кривой рожей и в кожаной ушанке, дядя Сеня-охранник, Иван Петрович с кровавым глазом (микроинсульт) и Мишка Фасарьян в допустимом состоянии.

Начал капитан Мирошниченко мешать-перемешивать камни: два камня пропустит, а третий — подсмотрит; предполагал намешать себе "один-один" для первого захода. А напарник его засек. И взлетел над столиком, ничего уже не соображая — даже собственной выгоды:

— Ты что, говно с кокардой, думаешь, что в нас глаза залило?! Я на твои погоны положил, понял!!

Не было на Мирошниченке никаких погон, тем более — кокарды: сидел он в шелковой белой майке. Только дядя Гриша — дурак старый — какие-то погоны придумал.

— Гриня, — сказал капитан Мирошниченко и положил набранные было кости на столик, так положил, что ни единого звука не раздалось. — Гриня, запаяйся, пойдешь домой к жинке, отдохни на титьках, а потом приходи играть. А то умрешь.

Часто неопытный человек говорит о смерти и умирании: есть, например, умирает, пить или по малой нужде. И, чтобы отличить серьезную сторону неприятного этого дела, о покойнике неопытный человек скажет "скончался" и тому подобное. Мирошниченко же сказал свое "умрешь" — и увидели доминошники труп дяди Гриши. Лежит раздетый, с пятнами на заднице, с ногтями синего цвета. Договорился.

А дядя Гриша ничего не видел. И влепил кулаком капитану прямо в улыбку.

Всякое правонарушение — от битья стекол из рогатки до убийства — имеет свою цену. Даже две, как все на свете. Одна цена — это, так сказать, себестоимость. Например, история в нашем дворе: столкновение Гриш. Себестоимость — 15 суток. Дополнительно случай обсуждался на цеховом собрании — и решили не платить дяде Грише тринадцатой зарплаты.

А цена?

Ее назначает государство. В отчете, представленном городским комитетом партии в ЦК КПСС, ни о дяде Грише, ни о Грише Мирошниченке ничего не говорилось. Только в разделе "Охрана общественного порядка — РоВД (ГорУВД) Прокуратура" упоминали сравнительно частые случаи мелкого хулиганства.

В отчете же, представленном городским управлением Комитета государственной безопасности, о нашем дворе рассказывалось так:

"Краснозаводской РоВД...

... 4. **Терещенко Григорий Иванович.** Б/п, год рожд. 8.2.1930, м. рожд. село Золотухино Белгородской обл., отец — Терещенко Иван Калининвич, ум. в 1940 г., прич. смерти неизв., г. рожд. неизв., мать — урожд. Пузыня Татьяна Степановна, г. рожд. 1900, м. рожд. пос. Кривичи Белгородской обл., ум. 12.8.1964 г., прич. смерти злокачественная опухоль гол. мозга, атеросклероз, до смерти прожив. совместно с семьей **Терещенко Г. И.** (см.), иждивенка, братья **Терещенко Г. И.** — Терещенко Василий Иванович, Терещенко Степан Иванович/погибли на фронте в 1942 — извещения 14/779/б и 14/2164/р/, жена — урожд. Бойко Валентина Тихоновна, г. рожд. 1934, м. рожд. пос. Рогань Белгородской области, м. работы сверловщица завода "Арматура", б/п, дочь — Терещенко Валерия Григорьевна, г. рожд. 1960, м. рожд. гор. Красноград, уч. средней школы. (сведения: Краснозаводской РоВД).

ТЕРЕЩЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ — ОПВ-67.

Жилищными условиями недоволен, умеренно пьет, половая сфера без отмеченных отклонений, контакты в норме, информированность в норме. **Фактаж** — обобщен на двух бланках УР/Предприятия тяжелой промыш./ Заводы /Завод "Гидроприбор" Инд.

27 авг. 197... г. Терещенко Г. И. принимал участие в игре "домино" во дворе дома по Красноармейской 17, где он проживает с семьей (см). В игре принимали участие жильцы дома № 17 и № 19 — ул. Красноармейская. С ним играли: Швидун В. К., Кур-

ченко З. П., **Мирошниченко Г. С.** — сотрудник горотдела КГБ, капитан, на работе с 1968 г., сектор 2-й. В процессе перемешивания костей “домино” Терещенко обвинил Мирошниченко Г. С. в мошенничестве. Мирошниченко Г. С. возмутился, на что Терещенко произнес следующее: “Ты, б..., думаешь, что у тебя удостоверение с гербом, так тебе все можно”. Затем, сделав непристойный жест, Терещенко набросился на Мирошниченко Г. С. и нанес ему удар по лицу, сопровождая свои действия оскорблениями. Мирошниченко Г. С. вынужден был оказать сопротивление в пределах необходимой самообороны. Происходящее наблюдали участники игры, жильцы, находящиеся во дворе, а также жильцы, выглядывавшие из окон. Вызванные работники РоВД задержали Терещенко и доставили его в отделение ВД. Народный суд Краснозаводского района решением от 28 авг. 197... года осудил Терещенко на 15 суток ареста”.

Это — цена.

Сидят понимающие люди и обрабатывают эти отчеты — находят соизмеримое, соразмерное; чтоб не переплатить, но и не вlepить на дорогой продукт цену-дешевку ноль рублей, хрен копеек. Так создается сводка для Малого ЦК — густая, четкая, недвусмысленная. Хоть бы разок взглянуть!.. Разобрались бы мы тогда сами в себе, узнали б, что Добро, а что — Зло. Но не показывают, поправляют наше поведение только на отступе, на роковом переходе, надеются на откровение да на личный навык. Уважают свободу воли. А жаль! Лично мне свобода воли и на подтирку не нужна — все мои беды от нее.

Не знал дядя Гриша ни про какие отчеты — убирал с алканавтами строймусор на станции Залютино. Валя перед работой добиралась на двух трамваях до тамошнего линейного отделения милиции, где в подвале сидели пятнадцатисуточники, с буханкой белого хлеба, молоком и рублевкой. Хлеб и молоко — Грише, рублевку — дежурному контролеру. Два раза передала, а на третий вместо рубля потребовали пять. И пришлось дяде Грише досиживать свое без молочной кухни.

Товарищ Климовский через три часа после инцидента составил бумагу — решение общего собрания жильцов с просьбой выселить хулигана Терещенко, грубо нарушающего правила социалистического общежития, появляющегося в нетрезвом состоянии, сквернословящего и оскорбляющего своим видом и поведением человеческое достоинство. Бумагу успело подписать человек

восемь, но попалась она на глаза Мирошниченке: он ее подписывать не стал, у товарища Климовского отобрал, и — как в фильме про наших разведчиков — сжег ее на красивой зажигалке. “Не надо, — сказал, — создавать необоснованную достаточно напряженность. Он свое получил и еще получит”.

Вышел дядя Гриша на свободу вечером в воскресенье — еще светло было. Приехал домой, а во дворе никого нет: столик исчез, а скамейки стоят под окнами нового дома, где живет сволочь-Мирошниченко. Дядя Гриша покрутился, покурил — и тогда вышел к нему дед Швидун, давно уже наблюдающий из окна за гришиными неприкаянными перемещениями.

— Где ж в домино играть?! — для порядка завелся дядя Гриша, хотя все хорошо понимал. — Нельзя отдохнуть после рабочего дня.

— Ты, Гриша, я смотрю, мало отдохнул тама, — зальбился дед Швидун. — Здесь теперь для деточек площадка будет. Качели привезут и песок. А в бубушки в другой двор пойдешь — сыграешь.

— А тот?.. — спросил дядя Гриша.

— Переехали они позавчера. Дом дали на Павловом поле для работников. Ну он попрощался, выпили что-то литра полтора. Вниз снес, к Захару, в квартире, говорит, мебели уже нет. Три банки шпротов принес, помидоров, колбасы полукопченой грамм триста. Жалко уезжать теперь, познакомились со всеми, говорит.

— Стол куда дели?

— Поломали, а доски Сеня взял. Пришли из управления домами, — Климовский, Абрам сучий, привел. Сказали, что тишину нарушали, разговаривали громко, костями стучали. От жильцы попросили убрать, чтоб отдыхать было можно.

И стал дядя Гриша в другой двор ходить в “морского козла” играть. Только Валя его одного туда не пускает — вместе идут на часок, вместе возвращаются.

СЫН ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ

В пределах Краснограда изменилась погода. С начала ноября небо стало цветом в язву-волчанку и с него пошла пыль — черная, а потом бурая; земляная пыль, измельченная до взвеси. Как в До-

нецке: нельзя было выйти на улицу в светлом — сразу темнела одежда, а стирать — так где сушить вешать? На дворе — невозможно; но и в комнатах стояла мгла. Ветер пробивал щели. Кушанья за окно поставить — поешь после сто граммов сыру голландского с землей, пятьдесят граммов масла сливочного несоленого — с землей, мясopодукты — не отмоешь. Пробовали держать скляночки-баночки-сверточчки между рамами — все равно насквозь брало их грунтом. Сообщили, что в центральных областях несло чернозем.

Бились в стены домов окурки пополам с пылью. Один окурок — сигарета “Орфей” болгарского производства, другой окурок — папироса “Прибой” — простой табачок, 25 шт. — 12 коп. Третий окурок — примерно четверть сигареты “Чайка”, табачная ф-ка “Дукат”, без фильтра — ударил в щеку учительницу средней школы № 103 Людмилу Ивановну: такое сильное движение воздуха!

Людмила Ивановна была строгая учительница — с умением застыть большим белым лицом над глупую голову нерадивого учащегося-убоища. Голова та наклонялась все ниже и ниже, вплоть до открывания продезинфицированной настойкой йода вавки в затылочной впадине.

— Дети должны подчиняться требованиям! — говорила мама Леньки Исаева, председатель родительского комитета, жена начальника районного отделения милиции. Она, жена, сильно изменилась с тех пор, что Ленька ее учился в первом классе. В тот период она пыталась не дать его оболванить наголо — тогда учащихся начальных классов еще стригли. А у Леньки была деликатная челочка. Учительница первого класса согласилась ее не замечать, но на пятый, что ли, день обратил на челку внимание — челкин отец майор Исаев. Дома он ее собственноручно отстриг: “Как все нужно быть, сопляк, не выделяться из коллектива!”, а жене своей дал два раза по морде, чтобы она его не позорила перед всеми.

Людмила Ивановна знала все марки курева — отбирала у учащихся: не стесняясь, заходила на переменах в мужской туалет — хоть ей однажды и написали на синее платье. Тем не менее она поступала так, как считала нужным.

“На уроке болтал, гонял на перемене”. — Людмила Ивановна как говорила, так и писала. Она не любила, когда гоняют на переменах, иными словами, бегают туда-сюда по коридору и орут. И часто она хватала такого учащегося, отделяла от толпы и швыряла в ближний угол.

Людмила Ивановна — давно мать-одиночка, — по воспоминаниям разных людей, сама выгнала из дому алкоголика-мужа. Есть сын.

Очень выдержанная: первая прибежала на крик учительницы географии Клавдии Ароновны, когда та, с головы до ног заплыванная жеваной бумагой, пыталась выброситься через малую форточку — окна были забиты наглухо костылями и затянуты мелкоячеистой сеткой из металла.

Вовка, ее сын, учился в неизвестно какой, другой школе, и многие из коллектива учащихся и преподавательского состава не знали — где он есть. А он уж год как не учился, а сидел в колонии за участие в групповом изнасиловании.

Ночью в общее кухонное окно, где и стояли всякие скляночки-баночки-сверточки — до пылевых бурь — в окно это слышен был зов: “Вовча-а, Вовчара-а!” Звали сына Людмилы Ивановны друзья-хулиганы. И все соседи слышали. Хорошо, хоть дома он совершенно не безобразничал. Судьба: у преподавательницы сын — хулиган.

— Сапожник ходит без сапог, — говорила Роза Гуревич. — Что этого шмендрика ждет? Тюр- (без мягкого знака) -ма!

— Некому в заднее место пацану заглянуть, — говорил военный Василий Данилович Черников.

Вовка уходил на всю ночь, возвращался утром, и Людмила Ивановна шла на работу преподавать до четвертого класса все на свете, а после четвертого — историю СССР и родную литературу. У нее была двойная нагрузка.

Думала отдать Вовку в ремесленное училище, даже в интернат для трудновоспитуемых, — но не понадобилось. Его посадили четырнадцатилетним.

Некий милицейский капитан в Горуправлении вызвал Людмилу Ивановну и дал ей прочесть объяснительные записки участников преступления, где похожими словами рассказывалось, как они, участники, в состоянии опьянения, напали возле городского катка на учащуюся седьмого класса “А” средней школы № 19 Скрипилову Лидию Федоровну, сорвали с нее верхнюю одежду и начали совершать с ней развратные действия...

— Какие действия? — спросила Людмила Ивановна.

— Ну.., — просмеялся капитан в закрытом рту, — вы извините. Лапали ее за все места. Ваш сынок, между прочим, сначала написал: “Я только за бутон подержался”, так мы его заставили заново писать...

Людмила Ивановна жажнула кулаком по столу, топнула ногой — забыла, бедняжка, что не на уроке родной литературы, а милицейский озверел, выругался и, чуть ли не силой угрожая, заставил покинуть служебное помещение.

Так и не дочитала Людмила Ивановна показаний-объяснений. А там говорилось, что в процессе неоднократных половых актов, они, участники преступления, нанесли Скрипилевой Л. Ф. несколько ударов ее же коньками по голове. Затем дополнялось, что во время этих действий их и застали проходящие мимо рабочие завода "Серп и молот".

Рабочие завода "Серп и молот" были ни при чем. Просто в Краснограде начали насиловать малолеток — ломать мохнатые сейфы, по-лагерному. И все группами. Приступили к борьбе. Взломщики мохнатых сейфов ловились с трудом — не хотели попадаться; самые страшные для жителей на воле, насильники, попадая в зону, почти неизбежно становились "петухами"-педерастами — зачислялись в летный состав, опять-таки по-лагерному.

Скрыть приговор в зоне не удастся. Ломануть мохнатый сейф по ходу основного — воровской службы — допустимо. Хотя и не одобряется. Ломануть просто так — лагерная гибель. Кроме того — и государство, отражая в своих правилах острую и понятную зависть-ненависть к сумевшему преступить и, сочно хрустя, вгрызться в запретное, упорно тянуло насильников к высшей мере — будто они крупные спекулянты-валютчики или изменники Родины...

Людмила Ивановна связалась с майором Исаевым. Пришла к нему домой в обед, воскресный обед с вином: полбутылки красного, полбутылки белого. Майор налил женщинам по рюмочке, а остальное допил сам — сначала белое, потом красное: ему без разницы.

— Не к нам они попали оттудова, не к нам, Людмила Ивановна, — Исаев очень переживал за нее, и жена Исаева, подталкивая холодец к гостьиному участку стола, переживала: "Ох, Людмилочка Ивановна..." — Я только потом с товарищами созвонился. Их в районе и не держали, не допрашивали — сразу в областное управление. Конечно, если б ко мне! Я б им, сволочам, ноги, простите, из жопы, повыдергивал, руки пообламывал! У меня по несовершеннолетним Маслова Ольга Николаевна: она б им яйца, простите, повыкручивала; не можешь, подлец, свою цюцюрку в штанах удержать, так терпи! Как говорится, до свадьбы заживет.

Пятнадцать лет — ну, меньше! — но давно Людмила Ивановна ни одного такого слова в своем присутствии не слышала: к ней, преподавательнице, отец ее учащегося — с упоминанием половых частей в почти совсем неприкрытых наименованиях... Вовка, дрянцо, как ты умудрился поставить мать в положение, когда она вынуждена выслушивать! Бутон... Гадость грязная!

— У меня они потом год-год! на костылях гуляют, — причитал Исаев. — Не умеешь, идиотина такая, вести себя, как следует...

— Его нельзя к вам в отделение перевести? — спросила Людмила Ивановна.

— Ой, что вы, роденькая.., — не умолчала жена Исаева.

Исаев же поглазел печально, повторил жену:

— Что вы, роденькая моя. Теперь — все. Показательный суд — из горкома уже звонили.

Не только звонили, но приходили: приходил к начальнику отдела дознания подполковнику Бутенке инструктор горкома, а затем — вызвали Бутенку к секретарю по пропаганде. Там уж сидел судья Медников.

Секретарь — овальный в черном, стекла — вогнутые, оправленные в золото; Бутенко — окаменелая углами сметана, лиловые глаза колодезной неподвижности; судья Медников — пупырчатый плешак, почти пенсионер, но заеда. Выначивался, спрашивал у обвиняемых на процессе: “Ну что, гондон, лопнул, сопли пустил?”. Весь зал хохотал...

Уточнили сроки для подсудимых, наметили статью в газете — появилась необходимость успокоить город, наглядно показать невозможность уйти от расплаты. На группу Вовки — из шести пацанов — накладывалось шесть последних дел о групповых изнасилованиях несовершеннолетних. Соответственно: двум самым старшим — расстрел, одному — пятнадцать, одному — восемь, одному — пять, а Вовке-подростку выходило три. Чтоб не держался за бутоны.

Возникали обстоятельства: при трех годах и упоминании в печати Вовкиной фамилии, родительский комитет школы № 103 обязан был бы обратиться к директору и завучу школы с решением своего собрания, где выражалось бы сомнение по поводу того, что преподаватель, допустивший собственного сына до совершения тяжкого уголовного преступления, может справиться с воспитанием коллектива учащихся. Руководство школы после

ознакомления с текстом решения родительского комитета сочло бы необходимым провести закрытое партсобрание, а вслед за тем — открытое: форма педсовета с привлечением председателя родительского комитета. Решения педсовета были бы направлены в партийную инстанцию, копии — в районо, гороно и облоно. А какими могли бы стать направленные решения? Как минимум, строгий выговор с рекомендацией ограничить преподавательскую работу Людмилы Ивановны младшими классами.

Директор Михаил Васильевич Кайдаш, узнав о совещании в кабинете секретаря по пропаганде, послал Людмилу Ивановну на прием к заместителю председателя городского совета депутатов трудящихся — заместителю и Михайлу Васильевича, и Людмилу Ивановну хорошо знал.

— Ну йолоп.., — сказал заместитель председателя городского совета, — и прямо при Людмиле Ивановне позвонил заведующей кабинетом партпросвещения при обкоме: Людмила Ивановна была известным политинформатором и преподавателем Народного университета культуры.

Надо было найти способ отменить предварительные скороспелые решения — результат недоработки вопроса инструктором, посетившим Бутенку.

Главная сложность, требующая обратного привлечения к делу секретаря по пропаганде, — изменение срока с трех до двух: иначе невозможно вычеркнуть фамилию из газеты. Меньше трех лет по статье о групповом изнасиловании дать нельзя. Вместо пятнадцати, например, можно дать расстрел, вместо двенадцати — восемь, это проще. Те же значительные перестановки, спасающие Людмилу Ивановну, ни в какую не лепились — с учетом всех обстоятельств. Ни инструктор областного комитета партии, ни, понятно, заведующая комитетом партпросвещения ничего сделать не могли.

Хотя общественные последствия упоминания фамилии Людмилы Ивановны в печати неизбежно стали бы таковы, что начисто уничтожили бы воспитательное значение наказания Вовки-насильника. Сын заслуженной, партийной, долгостажной учительницы в качестве разрубающего коньком — “снегурочкой” или как его там? — “гагином”, голову юной дочери фрезеровщика — не тот был кадр!

То была самая настоящая промашка, — небольшая в масштабе государства, но промашка, делающая неуправляемыми некоторые реакции населения на начавшуюся борьбу с изнасилованиями.

Из всех многих людей, готовых помочь Людмиле Ивановне, никто не считал себя вправе принять во внимание общественно-политический аспект и пойти с этим аспектом к секретарю по пропаганде. Его, аспект, обязан был принять во внимание инструктор-йолоп. Но он не принял — не знал, кто такая Людмила Ивановна: новый он человек.

И вот что еще обидно: мелкий лейтенант из, скажем, отдела борьбы с идеологическими диверсиями Комитета государственной безопасности свободненько привел бы в разговоре со своим непосредственным начальством слова о неуправляемых реакциях и прочем. Оперативная работа: один не заметил, другой заметил. А в следующий раз — наоборот. Но представьте себе инструктора парткома, говорящего такие слова другому инструктору парткома... Или еще: инструктора, несущего такой — справедливый!! — текст своему секретарю по пропаганде. Фантастика, "Ревизор"...

— Ты что, Вася-Петин брат, обстановку меня понимать учишь? Хитрожопый, да?! На хитрую жопу есть хуй с винтом!

Да нет, ничего не произойдет, никто никому ничего не понесет, даже до мыслей, до расстройства-раздражения подобного люди друг друга не доведут...

Из-за кого, из-за чего? Что случилось? Этих целочников народ бы голыми руками растерзал, кабы органы милиции их у себя не держали! Судить засранцев еще приходится, в газетах упоминать, чистое имя города пачкать! Сунуть бы их под ноги второй смене, когда та с завода выходит: работяги злые, как собаки, они б их на пироги мясные своим бабам отнесли по кускам.

Решили привлечь Бутенку. Через Исаева, Кайдаша, заместителя, — а кроме того, сын Бутенки, Валера, учился в школе № 103. Бутенко всех Валериных учительниц помнил.

Решили привлечь — и правильно сделали.

Бутенко позвал старшего следователя Зорика Друяна, подняли папки. Что же оказалось? А то, что третьему по порядковым номерам подследственному Вовкиной группы исполняется через месяц восемнадцать лет. Провести переследствие и расстрелять. Добавить из Друяновских клиентов одного в группу: есть, есть хмырь. Особоопасный. Дать ему пятнадцать. Четвертому из Вовкиной группы — пятому по новому счету — летят те же восемь, как из пушки. Бывшему пятому — ныне шестому: пять. А Вовку выделить в отдельное производство и дать два года исправительной колонии за хулиганство.

Вычеркнули фамилию — за два дня до выхода того газетного номера!..

Судили Вовку отдельно, он просил дать ему возможность купить свою вино, обещал учиться в заключении, а после окончания учебы — приобрести специальность.

Не трудно было в школе с преподавательским составом; многие преподаватели с невыработавшимся авторитетом начали Людмилу Ивановну значительнее уважать: за групповое изнасилование, о котором весь город выл — два года исправительной колонии! А?

Не трудно и дома с соседями: они между собой втихую переговаривали полгода — и перестали. У Розы Гуревич муж три года провел в лагере за хозяйственные преступления, Василий Данилович, глаза залил, так себя держит в комнате и в коридоре, что лучше б он кого-нибудь на стороне насиловал... Появись новые люди в квартире, соседи бы рассказали: “У той, полной, сын за изнасилование сидит”. Но нет новых людей — многие начали получать отдельные квартиры.

И есть одна тонкость: Вовкино преступление с двумя годами как бы ввело Людмилу Ивановну в круг смертельно занятых людей, что загружены воспитанием масс. На собственный дом времени нет. И нет в таком положении никакого юмора и сатиры. Ну-ка, честно: когда? как? А у Людмилы Ивановны и мужа нет, хотя безотцовщина — не причина. У какого сатирика, у какого кукрыникса поднимется карандашик на Людмилу Ивановну — или на тех, кто помогли ей скостить Вовке третий год? Глупость все. Два года за дурацкий бутон — мало? Пойди и посиди — попробуй, интересно, как тебе понравится.

Так говорил Василий Данилович технологу Фундовому — и был прав.

Не трудно в школьном коллективе, не трудно дома. А трудно — по дороге из школы домой, где ветер бьет в стену окурки пополам с пылью. Произошедшее — Людмиле Ивановне — мешало, лишним было для нее. Для посторонних — она вошла в круг загруженных, а сама себе — в круг пишущих письма в тюрьму, знающих, что можно класть в передачи, имеющих в памяти и записках имена работников юстиции и охраны общественного порядка; вошла, вошла Людмила Ивановна в круг частных сведений, ей никогда ранее не нужным — и создавало это ей помехи в каждодневной работе с учащимися.

Раньше кто ходил в мужской школьный туалет, разгонял курцов и отбирал у них никотин? Она, Людмила Ивановна. А теперь ей неловко. Плохо ей видеть гнусные слова и рисунки на стенах. И все это делается гвоздем — не зальешь краской во время ежегодного ремонта.

Кто раньше на вечерах старшеклассников следил за тем, чтобы во время быстрых танцев не прижимались? Она же. Громко и строго говорила Людмила Ивановна непристойной паре: “Молодой человек, ты еще молокосос, ты как себя ведешь?! Я тебя сейчас выгоню вон отсюда!” И — девице: “Ты что, Коломейцева, в Америке находишься, дрянь?!”

А теперь? Вовка, гадость грязная, не обнимался, — а изнасиловал; девочку ту едва спасли в больнице, голову ей проломил...

Она себя терзала, как принято называть такие чувства, она себя поедом ела.

Ей было стыдно людям в глаза смотреть.

Ничего фактически не произошло, — но когда вошла Людмила Ивановна в свой класс после урока анатомии и увидела на неубранной таблице с человеком в разрезе пририсованный мужской половой член, рванула она таблицу, разнесла ее своими круглыми руками на клочья — даром что таблица с основой из суровой марли. Рейку-держалку расшибла одним ударом о спинку стула. Обломок полетел в морду многогодника Филатова.

— Выйди вон!!!

И тот, наглый обычно до невозможности, жалобно вылез из-за парты, пошел, оглядываясь и проверяя ее, к двери. Тихонечко вышел, тихонечко прикрыл за собою белую дверь.

А это, между прочим, не он нарисовал, это с прошлого учебного года так было.

— Сегодня мы начинаем проходить повесть Пушкина “Дубровский”. Откройте все учебник на странице...

В классе был учащийся по фамилии Дубровский. Но никто не пошутил, не нарушил тишину в пределах допустимого. Открыли учащиеся молча свои родные литературы на странице.

Вовка, как видно, сидел без конфликтов и не рыпался. Людмила Ивановна беседовала с воспитателями Вовкиного отряда в колонии, и те отвечали: “Ничего, спокойный парень — научится жить в коллективе”.

Во время четырех прошедших свиданий Людмила Ивановна

не заметила, как Вовка вырос. Но, везя его домой после отбытия срока, сидя рядом с ним на автобусной скамейке, ощутила упор его плеча: острый и мощный. Стал большой-широкий, но одни кости...

Уже договорено, что пойдет Вовка работать учеником слесаря-инструментальщика на завод, закончит школу рабочей молодежи.

— Ты в с е, наконец, понял?! — и пассажиры, везшие из зоны по домам — кто сына, кто молодого братца и неслышно и неявно друг для друга бубнящие радостно и слезно, вздрогнули от вопроса Людмилы Ивановны. Громко она спросила. Самые добрые даже поглядели горестно на нее и на Вовку — длинного и аж голу-бого.

— Не надо, мамочка, — попросил Людмилу Ивановну пьяный человек в кепке, едущий вплотную к толстой жене в трех платках: один другой перекрывают. Хотя и было два свободных места недалеко, но ихний сын... сын? скорее всего, ихний — стоял возле родственников, едва удерживая поручень, объяв его огромной краснодырчатой пятерней. Пятерня — лопата, а запястье — игла, спичка, лучина. Слишком быстро растет. На пальцах у него заметила Людмила Ивановна татуировку: три синих кольца. — Не надо, мамочка, — умолял Людмилу Ивановну пьяный человек.

— Вы хороший пример показываете своему сыну: приехали за ним в таком состоянии. — Во всю строгость глаз, прямого, оконтуренного сединою пробора, во всю ширину лица развернулась Людмила Ивановна к отцу-алкоголику.

— Дура ты, еб твою мать, — сказал алкоголик, и весь автобус заговорил. слышнее, заспорил: обратил внимание.

— Будете нецензурно выражаться — попрошу остановить автобус и приглашу представителей милиции. Сына выпустили, так отец его место займет!

Трехплаточница загородила свое сокровище, хапанула за свободную руку сына — да и весь автобус заткнулся: вернулись к своей буботне, только потише.

А Вовка не сказал ни единого слова. Поумнел.

Освободился он в среду, а в воскресенье пошел погулять в городской парк культуры и отдыха. С ним отправился дотюремный старый знакомый — из наиболее порядочных. Людмила Ивановна против дневной прогулки не возражала: Вовка явно в тюрьму больше не хочет!

В парке Вовка с другом выпили по пиву и познакомились с девушками из станкостроительного техникума. Покатались с ними на чертовом колесе — каждая пара в своей кабиночке — и, определив привязанности: кто с кем гуляет, пошли в тир.

В тире есть мишени простые и сложные. Простые — силуэты немецко-фашистского типа: угадаешь из воздушки — они валятся. А самая сложная мишень — американский реактивный самолет: при попадании он быстро съезжает по тонкой проволоке за борт мишенной стоечки, и тогда раздается взрыв.

Вовка стрелял отлично, друг — хорошо, его девушка — средне, а Вовкина девушка даже силуэт не повалила.

— В твои годы пора попадать, пэрсик, — сказал друг; не из той оперы, но его девушка засмеялась: она-то попала.

— Не выступай, — сказал Вовка. — Мы сейчас научимся. Сначала стрельнем по большому, а после — по маленькому.., — опять смешно.

Вовка отвел сорочку до ключицы, приставил ствол девушкиной воздушки к сердцу — в межреберье.

— Стреляй, пэрсик! — закричал друг. — За любовь за мою и за ласку мою получай финку вострую в сердце!..

Девушка посмущалась и выстрелила.

Вовка всплыл вверх — медленно и наискось — к светящемуся изнутри пуховому кому, откуда исходила к нему навстречу ласка и любовь. Он видел внизу себя, сползшего на досчанник тировой будки, свою девушку — во мгновение, когда она беззвучно обронила воздушку и схватилась ладошками за щеки, видел дураковатую макушку друга, девушку его, что уже склонилась к тому Вовке, нижнему. Ему даже жалко было их всех, но не сильно, потому что много исходило к нему одному любви и ласки.

Ю. Милославский (р. 1946) — поэт и писатель, автор повести "Собирайтесь и идите!" ("22", № 3); окончил филологический факультет Харьковского университета, с 1973 г. — в Иерусалиме, сотрудничал в русскоязычной периодике, в 1977 г. — редактор газеты "Неделя в Израиле", с 1978 г. — на литературных заработках.

О ЗНАЧЕНИИ ОДНОГО СЛОВА

(Из романа "Роман-Покойник")

Грядут царя исподние знамена.

Данте

"Божественная комедия",

"Ад", песнь 34, ст. 1

Служи слово "дурак" действительно наименованием человека глупого, тупого и ни на что не способного, почему произнесение его сопровождается нарочитым похихатыванием, было бы непонятно. Ведь несовершенство человеческой природы — повод скорее для скорби, чем для радости, и если о ком-то, лишенном деятельного органа или страдающем постоянной болезнью, мы говорим, напуская на лицо сочувственную унылость, — так почему же о важнейшем недостатке ума — злорадно и смеяшь? Это было бы, повторяю, непонятно, когда бы речь шла только о неполноценности. С другой стороны, нельзя сказать, чтобы хихиканье, сопутствующее диагнозу, служило выражением чистого удовлетворения — как по случаю победы в беге или на кулаках. Обнаруживаемые чувства, видимо, двусмысленны. Говорят словно бы даже не о дефекте, а о неквалифицированной симуляции. Назвать кого-либо дураком в глаза — все равно что обидно упрекнуть в притворстве, в валянии дурака. Откуда следует, что наше словоупотребление основано на переносном смысле и что "дурак" обозначает не человека.

Кого же это слово обозначает? Каков его собственный смысл? Что за реальность соответствует термину?

Чтобы ответить на эти вопросы, сопоставим некоторые слова близкого значения, но лучше сохранившие генеалогические связи — такие, как болван, чурбан, бревно и другие. Нас поразит полнейшее единообразие материалов. Во всех случаях — это древесина. Однако не древесность же вызывает насмешки. Нет, тут дело в

претензии, которая при внешнем намеке на возможность — неспособна осуществиться. Форма, в которую облечен материал, служит иллюзиям, а сам материал их развеивает. Предмет статью своей изображает творящее начало, сутью же бездейтелен и туп. Такими признаками обладает один единственный предмет, который и есть, собственно говоря, дурак.

Не следует думать, что тут скрывается метафора или синекдоха. Дурака прежде видели в любом огороде. И не только видели — его самым непосредственным образом валяли по грядкам из соображений, относящихся к магии плодородия. Валяли с визгом, хохотом, всем обществом вступая по ходу дела в профанированные отношения друг с другом и с явлениями окружающего мира, пьяные и сквернословя. Это вакханствование должно было, по замыслу, сообщать огородным растениям дополнительную мощь и кормящие соки.

Итак, “дурак” представляет собой намеренно воздвигнутый столб с несколько расширенной и округлой верхней частью, напоминающей лысую человеческую голову.

Постепенно примитивная скульптура совершенствуется. На голове возникают черты лица. Приапический идол может поэтому осознаваться не только как покровитель плодородия вообще, но и как предок владельцев огорода — в особенности. По очевидной ассоциации идей, приобретая глаза, рот, даже бороду, он не теряет лысины — своего прародительского знаменья. Изначальный нерасчлененный образ теперь состоит при нем как устремленный ввысь атрибут.

В описанном здесь единении понятий “дурак” и “предок” чувствуется та всемогущая предбытийная глупость, та глумливая непосредственность, та оживленная визгливая бессмыслица, которая связана с производением на свет себе подобных. Потомство не зря зовет предка старым лысым дураком — именно таким стоит он перед глазами наследников.

В трактате “Берахот” рассказывается о некоем Седекии, имевшем обыкновение носить на плечах по пятницам в синагогу двух своих сыновей — Рабдака и Манассию. Однажды, когда он их нес вот так в синагогу, Рабдак сказал:

- На лысине отца хорошо колоть орехи.
- Жарить рыбу, — возразил Манассия.

Этот старинный анекдот прекрасен. Все вещи названы своими именами. Пусть комментаторы потом морализируют, намекая,

что Седекия был наказан непочтительными детьми за то самое непочтение, которое он питал к Господу Богу, их версии не могут ничего изменить в суровой достоверности и жестокой естественности рассказа.

Логика отношений здесь первобитна и проста. Для того, чтобы стать предком, отцом личности, нужно самому, забыв о собственной персоне, смело пустить в дело то общее, что есть у нас независимо от расы и вероисповедания, выступить в единообразящей всех наготе и полнейшей, можно сказать — лысой обезличенности. "Человеческая воля сильнее, нежели интеллект", — говорит Спиноза.

Но чтобы нечто утратить, хотя бы и столь забавным способом, — нужно сперва этим обладать. Так объясняется известный расцвет индивидуальных дарований у юношей. Увы, бедная молодежь! Если бы она могла знать, что ждет ее впереди! За светлым и радостным мифом о смене поколений неразличим для нее тошнотворный образ непрерывно вращающегося идиотства. И претенциозная выходка Хама, который хотел разрешить проблему отцов и детей в свою пользу, свидетельствует только о непонимании данного деликатного обстоятельства. Проклятием на голову его навек ослабившегося потомства легла неспособность понять это когда-либо в будущем.

Однако требования нравственного закона об уважении к старшим сами по себе могут набросить лишь легкую, полупрозрачную вуаль на эту выпирающую непристойность. Гораздо эффективнее присоединить сюда еще и заповедь, которая возбраняла бы кумиротворчество, хотя вообще стремление каким бы то ни было способом объективировать несоответствие между манящим таинством цели, пылким творчеством при ее достижении и достойной смеха обыденностью итога можно было бы даже оправдать. Но люди не могут ограничиться только водружением кумира, они стараются выдать своего дурака за нечто существенное, возвышенное, важное. Символ утраты личной природы становится объектом поклонения для коллектива. Все перечисленные ранее неприятные странности оказываются в метафизической плоскости: неподвижность оборачивается величием, никчемность — постоянством, бессмысленность — могуществом. Так возникает культ. Утраченные человеком временные дары приписываются истукану навеки, и наше относительное знание становится у него всеведением, что можно обнаружить хотя бы в басне Крылова "Оракул".

События, изложенные в этом поучительном произведении, достаточно хорошо известны, и их можно не пересказывать в подробностях. Кратко же они таковы. В некотором городе или селении имелся предвещающий кумир, действовавший в высшей степени удачно. Внезапно качество пророчеств ухудшилось. Далее влагая в свои уста перо гениального баснописца:

А дело было в том

Что идол был пустой

И саживались в нем жрецы вещать миряном

Доколь сидел там умный жрец — кумир не путал врак

А как засел в него дурак

Так идол стал болван болваном.

Замечателен набор синонимов в последних строках. Одушевленный дурак внутри безжизненного болвана — поистине самый монументальный образ во всей мировой литературе. Здесь достигнуто то единство формы и содержания, о котором потом мечтали десять поколений литературных критиков.

Понятым становится пафос ветхих пророков по отношению к таким конструкциям. Эти одухотворенные личности приходили в крайнее омерзение, видя, как племена и колена соединяются полным составом ради пустопорожней глупости и свального греха. И нас не должно теперь удивлять, что Илья в раздражении заколол однажды 350 пророков Вааловых и, как добавляет Перевод Семидесяти, 100 пророков дубравных. Добавка важна. Илья был человек пронизательный, настоящий пророк. Экзекуцию он не ограничил прямыми прагматиками, безобразно выплясывавшими перед своими Ваалами, но прихватил, сколько мог, и дубравных лицемеров, которые творили, в сущности, то же, но поворачивали дело так, будто поклоняются не идолам, а непосредственно "силам природы". Илья очень хорошо понимал, что это за такие "силы", и справедливо не различал в лесных забавах этих пантеистов ничего, кроме одного непотребства.

Здесь можно добавить несколько слов об Иванушке дурачке. Что это за персонаж, понятно из вышеизложенного. Смущение вызывает только имя — библейское Иоханан, узурпированное языческим Ванькой-Встанькой. Проблема "почему" в таком виде неразрешима, а значит неверны посылки. И если вторую из них, — что дурак есть понятие и предмет, подлежащий мирозозерцанию производительной сферы в качестве сокровенного гнома идолопоклоннических зачатий, — несомненно следует принять, то пер-

вая — о христианском происхождении имени Ваня — должна быть отвергнута, как заблуждение. Под пристойным передником имеющего европейских кузенов (в виде различных Гансов, Янов, Джонов и Жанов) Иоанна-Ивана сидит все тот же древний, как плоть, разухабистый наездник, на своем подозрительном горбунке влезающий в нижние печи Бабы Яги и выскакивающий из трубы зловонным Перуном-Громовержцем, отцом и бессмертных, и смертных, согласно Гомеру. Ваня намного старше и Владимира-Красное Солнышко, и самого Иоанна Крестителя. Ваня был уже в те времена, когда древляне, как сказано, дурака валяли и сидела по пуп во мху югра. Югра помянута не зря. На финских языках югры имя Вене или Вейне значит старый, древний, то есть предок, то же, что и дурак в сакральном смысле. Ваня, значит, и есть "дурак", а Иванушка дурачок — тавтология. Загадка разрешена, и как это бывает при обнаружении истины — с нею ворох других загадок. Поскольку сам Ваня древнее Библии (стадиально — во всяком случае), постольку его естественная пара (Маня) старше Евы и Лилит. На тех же финских языках имя Мене или Мейне значит "древняя". Так что героя Вейнемейнена следует представлять себе архаическим андрогином, чудовищем, сексуально нерасчлененным вселенским Адамом Кадмоном. Имя его — Старый и Древняя — вводит нас в круг воззрений, связанных с предсуществованием миру космической пары прародителей, именно не двух, — а нераздельной пары, предвечных Деда и Бабы. И зачин сказки: "Жили-были Старик со Старухой". Предлог "со" донельзя уместен для выражения всех этих пикантных идей..

Мне хотелось бы заключить эти рассуждения забавной историей о том, как бездушное кумиротворчество было наказано и в наше время, когда общий глас твердит об иссякновении чудес и возмездий.

Два скульптора-профессионала — дело было незадолго до начала второй мировой войны — раздобыли по случаю насос-распылитель масляной краски и отправились путешествовать по провинции. Являясь в районные центры и глядя прозрачно в глаза местной власти, они говорили в том смысле, что плохо в городе с изобразительной пропагандой. Власть отводила глаза вбок и оправдывалась отсутствием людей, средств, материалов.

— А что — цемент? — спрашивали тогда художники.

Словом, они брали цемент и, замесив, вливали в бывшую у них портативную форму, затвердевший вскоре монументец опыляли

из насоса блестящим составом, — и наутро уже можно было разрезать ленточки. Статуи сверкали и лоснились. Все были счастливы, а наши рачители, хоть и брали недорого, даже разбогатели, потому что действуя проворно, успели за короткий срок обставить своими изделиями половину уездной России.

Богатство их и погубило. Первый умер, выпив однажды невероятное количество водки. Другой, работая в одиночку, стал небрежен. Его нашли как-то на площади маленького городка, где он выполнял заказ, погребенного под осевшей кучей цемента, над которой высились крестообразно скрепленные прутья железной арматуры. Рядом лежал еще стучавший насос, изрыгая под ноги толпе последние порции белой краски.

А. Волохонский (р. 1936) — поэт и эссеист, широко печатается в израильской и западной русскоязычной прессе, в Израиле с 1973 г., живет в Твери и работает в лаборатории по исследованию озера Кинерет.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
вышли в свет в 1979 г.

Эдуард Кузнецов. "Мордовский марафон" (илл. Б. Пэнсона).

Будучи лагерным дневником по форме, эта книга, по сути, выделяется из обычной лагерной литературы глубиной нравственной проблематики и остротой сюжетных конфликтов.

\$ 10 (в Израиле — 200 лир)

Владимир Лазарис. "Проводы". Избранные стихотворения последних 10 лет, объединенные в три цикла.

\$ 4 (в Израиле — 70 лир)

выходят в свет в первом квартале 1980 г.

Джозель Кармайкл. "Троцкий". Впервые на русском языке — детальная и увлекательная биография героя и жертвы русской революции.

по предварительному заказу — \$ 14 (в Израиле — 250 лир)

Адин Штайнзальц. "Суть Талмуда". Первое на русском языке рассчитанное на массового интеллигентного читателя популярное изложение содержания и сути Талмуда.

по предварительному заказу — \$ 9 (в Израиле — 200 лир)

Заказы и чеки (на имя "Фонд Москва—Иерусалим") принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Раман-Ган, Израиль (Foundation "Moscow—Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel)

Яков Цигельман

К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Меня просили рассказать, и я с удовольствием расскажу вам, как можно прожить в Израиле, обладая минимальными средствами. Утром... Где вы провели ночь? Не обязательно ночевать у женщины, хотя, если ночуете у женщины, с вас снимается забота о завтраке. Женщины считают, что мужчина утром должен быть сытно накормлен. Это хорошее правило, но не всякий может каждую ночь ночевать у женщины. Это требует не только физических сил, но и достаточного количества сил душевных, а их-то и необходимо беречь.

Переночевать можно у приятеля, либо у товарища приятеля, а иногда, чтобы далеко не ходить, у приятельского соседа. Жилплощади хватает, спальных мест — тоже, потому что самый захудаленький салон включает в комплект более или менее удобный диванчик. Если вы человек оседлый, можете найти постоянную женщину, которая не захочет выходить за вас замуж из феминистского принципа. С принципами у женщин всегда в порядке — пара-тройка принципов найдется про запас. И один из принципов вашей женщины обязательно гласит: мужчина, с которым я сплю, должен заниматься полезным и творческим трудом. Она не умеет понять, что полезный труд не всегда творческий, и творческий труд — чаще всего бесполезен.

Но с женскими принципами нужно считаться, потому что принципиальная женщина (женщина, воспитанная на соцоснове; в кибуце ли, в советской ли школе), если отнять у нее веру в принципы, чувствует себя ободенной, неудовлетворенной, как бы вы потом ни старались. Либо оставьте ее с ее принципами и идите своей дорогой, не обращая внимания на то, что скажут вам люди.

Итак, утром вы встаете пораньше, часам так к семи. При этом вид у вас должен быть обиженный: почему, мол, не разбудила в пять часов! Поскольку и в семь вам вставать рано, вид у вас обязательно будет недовольный. Вы бурчите что-нибудь вроде "опять я из-за тебя проспал восход солнца" и стараетесь, чтобы она заставила вас выпить "хотя бы чашечку кофе". С огорченным лицом, в котором все же сквозит творческий позыв, вы с удовольствием пьете кофе и после упрасиваний съедаете пару больших бутербродов с колбасой. Обязательно рекомендуется между глотками нудно приговаривать: "ты опоздаешь на службу, не жди меня, ты опоздаешь". И вы не должны забывать, что выйти из дому нужно раньше, чем выйдет она.

С сожалением поглядев на оставшуюся колбасу, на салат и на творог, вы поспешно выскакиваете из-за стола и несетесь к двери, не забыв схватить альбом и акварели, которые заранее приготовлены у вас в изящном ящичке. Добежав до двери, вы должны приостановиться, обернуться с виновато-растерянной, но милой улыбкой (ваше недовольство как рукой сняло: ведь вы спешите р а б о т а т ь, а работать — не служить!) и, легко подбежав, чмокнуть ее в щеку. Говорить при этом ничего не нужно: вы боитесь потерять творческий запал!

Вот вы вышли на улицу и теперь можете идти спокойно: не опоздаете, не ко звонку! Но лениться тоже не следует; старайтесь всюду поспевать вовремя, в крайнем случае — с опозданием не больше, чем на час; это дисциплинирует. Вы можете идти ровным шагом, не спеша поглядывать на служащий люд, которому нужно пробить карточку не позже, чем через десять минут после начала рабочего дня. Вы с наслаждением вдыхаете аромат приятного южного утра, вслушиваетесь в щебетание брызгалок, похожее на болтовню нимфеток, заглядываете в заспанные женские лица, не забывая про себя отметить — ведь вы же художник! — розовато-желтый (как у Ватто!) цвет их щек или еще что-нибудь, что пригодится вам в разговоре для демонстрации вашей художественной наблюдательности.

Не забудьте по дороге заглянуть к той старой болгарской еврейке, которая торгует газетами. Купите у нее "Вашу страну" и потратитесь на американский журнал, если вчера забыли положить его в ящик с красками. Скажите старушке что-нибудь приятное и притворитесь, что забыли сдачу. Она вас запомнит и обязательно расскажет соседям (а это соседи и вашей женщины):

“Какой милый и какой рассеянный этот художник из одиннадцатого дома!” Пусть женщина, у которой вы ночуете, знает, что вы обаятельный мужчина и совершенный бессребреник!

Итак, вложив в дело немного денег, потратитесь и на автобусный билет. В автобусе вы едете с комфортом; час пик, когда все спешат на службу, прошел, автобус полупустой. Сядьте же поудобней, разверните русскую газету и наслаждайтесь. Курите, читайте, разглядывайте горные пейзажи, но не забудьте, подъезжая, спрятать русскую газету и открыть американский журнал. Английского вы, конечно, не знаете, так разглядывайте картинки или поищите буквы, знакомые вам из русского алфавита. Создайте впечатление, что вы человек солидный и всегда читаете американские журналы. Остерегайтесь вести себя кое-как; вместе с вами в автобусе могут ехать люди, с которыми вы еще встретитесь.

Наконец вы приехали на конечную остановку — это “Хадасса”, самая лучшая больница Израиля. Можно поехать и в “Шарей цедек”, но в “Хадассе” лучше кормят.

Вы проходите мимо синагоги с шагаловскими витражами и немного наискось видите дверь, обшитую деревянными панелями. Толкните дверь, и вы очутитесь в атмосфере радостного события. Вас встретят улыбками; добрыми еврейскими улыбками встретят вас, потому что здесь сейчас происходит второе по значению и следующее по порядку после рождения событие в жизни каждого еврея — обрезание, брит-мила. Вам дадут шапочку, но будет прелестно, если она найдется у вас в изящном ящике где-нибудь рядом с акварелями. Эту шапочку рекомендуется всегда носить с собой.

Вы входите в шапочке, радостный и немного смущенный, потому что вы — художник и не любите, чтобы на вас глазели толпы, которые, конечно же, преследуют вас своим вниманием. Это должно быть изображено на вашей физиономии где-нибудь рядом со скромностью и достоинством. Войдя и изобразив на лице вышеперечисленное, ищите глазами знакомого. Знакомых у вас здесь нет, вы это хорошо знаете, но искать нужно: брит-мила — праздник семейный. Встретившись глазами с родителями ребенка, улыбнитесь им и поклонитесь. Вежливые и счастливые люди (а счастье всех делает вежливыми и доброжелательными), они обязательно ответят вам улыбками и кивками. Теперь найдите самое улыбающееся лицо и помашите этому лицу рукой. Лицо

ответит вам тем же. И — дело сделано: вы — свой. Смешайтесь с гостями, произнесите какую-нибудь фразу, можно и про погоду, с доброй улыбкой наблюдайте за обрядом, поспевая вовремя говорить "амен".

Когда обряд окончится, смешайтесь с гостями, подойдите к родителям нового сына Завета и поздравьте их. Произнесите что-нибудь приятное, чтоб ясно было, что вы человек творческий. Если вас хватит на риск, говорите с англосаксонским акцентом, но учтите, что к вам могут обратиться по-английски. Впрочем, вы можете сказать, что принципиально говорите только на иврите.

Затем начнется то, ради чего вы так старались, — торжественный завтрак. Мы не станем перечислять блюда и достоинства еврейской кухни, это прекрасно сделала госпожа Прицкер в своей замечательной книге "Чего вы не знаете и стеснялись спросить в России о еврейской кухне". Скажем только, что здесь будет что выпить, и найдется, чем закусить. Приступайте же! Вперед! Выпейте с устатку бренди, закусите чем-нибудь острым: если праздник ашкеназский — возьмите селедочки, если ребенок сефард, то поешьте хумус. И продолжайте, продолжайте! Ешьте подряд все; англосаксы неразборчивы в еде, они запивают апельсиновым соком печеночный паштет и после пирожных едят простоквашу, набросав в нее соленых огурцов и смешав с кетчупом. Докажите, что вы тот, за кого себя выдаете, ешьте все подряд и наедайтесь до отвала. А потом смойтесь по-английски.

Найдите на просторном дворе больницы укромный уголок в тени и отдохните. Почитайте газетку, поглазейте по сторонам, выкурите еще одну сигарету и подремлите — вы же сегодня рано встали! Времени до обеда у вас достаточно.

Проснувшись, не потягивайтесь: у вас должен быть неудовлетворенный и больной вид. Войдите в здание больницы и спросите сторожа, куда можно сдать ящик с красками. Сдайте. Пойдите в уборную. Вытащите из штанов больничный халат, наденьте и — идите обедать. В любой палате найдется свободное место, а если сразу не найдется — сядьте возле палаты и ждите, пока понесут обед. Проходящей мимо раздатчице скажите просто и внятно "Дай мне обед!" Она даст. Остерегайтесь желудочного отделения — зачем вам диета?

Поели? Посидите, отдохните, переварите съеденное — врачи не советуют людям вашей комплекции и вашего здоровья много двигаться после обеда. Потом ровным, но расслабленным шагом

пройдитесь по коридору, заглядывая в палаты. Присмотрев свежее застеленную постель, войдите и лягте. Пospите. Проснувшись, попросите сестру дать вам свежее полотенце (в "Хадассе" любят менять белье по десять раз на дню) и отправляйтесь под душ. Свежий и отдохнувший, вы можете выпить стакан чаю с лимоном. А можно и не пить, если не хочется.

Идите в сад. Если вы человек общительный, завяжите с кем-нибудь беседу и, прогуливаясь, обсудите последний визит Даяна в Америку. Если вы отдохнули настолько, что вам нужна женщина, то заговорите и сговоритесь с той, которая вам понравится. Уютное местечко для более подробной беседы на интересующую вас обоих тему вы сможете найти в саду; если же вы любите удобства, то среди больных всегда найдется сердобольный и понимающий вас человек, который покажет вам пустую палату или незанятый кабинет врача.

На обратном пути из "Хадассы" вы можете полюбоваться резкими тенями, которые отбрасывают горы на закате, либо сжечь какую-нибудь ненужную вещь, заявив возмущенной полиции, что тем самым совершаете символический обряд возвращения из галута, сжигая за собой корабли и взрывая мосты. Взрывать, конечно, ничего не нужно, со взрывами у нас не шутят. Вы сожгите что-нибудь.

Приехав в ту часть Иерусалима, которую называют центром города, вы отправляетесь, например, в ресторан на улицу Агриппы. Это как раз время, когда гости съехались на свадьбу. Здесь вообще все просто: никто не посмеет вас спросить, кто вы такой: гости со стороны невесты примут вас за гостя со стороны жениха, а сторона жениха примет вас за сторону невесты. Вы можете даже позволить себе ваше истинное выражение лица: вас примут за человека, который любит невесту, но которому она предпочла нынешнего жениха. Так будет даже лучше: евреи — народ романтический, и с вами будут обращаться бережно и нежно.

Попужинайте. Зайдите на кухню, оглядите всех подозрительным взглядом. Обойдите кухню, не обращая внимания на сердитое ворчание прислуги; поищите. Посмотрите, где стоит котел с чолнтом. Это такое еврейское блюдо — тушеная картошка с мясом и фасолью. Обычно чолнт готовят на субботу, но и на свадьбу тоже, потому что блюдо сытное. Редко кто ест чолнт на свадьбе, хватает и без чолнта, но его готовят на всякий случай, для самых прожорливых гостей.

К концу свадебного веселья вы еще раз зайдете на кухню, повозитесь возле чолнта и попытаете котел поднять и понести. Вам это, конечно, не удастся. Хотя у котла очень удобные ручки, нести его нужно вдвоем. Не поднимая глаз, буркните поваренку: "Иди, помоги мне!" Вам не откажут в помощи, и вдвоем вы легко вынесете этот котел на улицу. Поставьте его в удобном месте — чтоб не был заметен и чтоб в то же время его не приняли за мину (не то вызовут полицию и взорвут) — и вернитесь в зал.

Протанцуйте последний танец, прижмите поощрительно в последний раз дальнюю родственницу двоюродного дяди жениха и пойдите себе погуляйте немного по вечерним улицам, в них много очаровательной прелести.

Еврейские свадьбы в Израиле заканчиваются рано. Примерно к тому же времени заканчиваются последние сеансы в кино и дружеские вечеринки. Народу на улицах много, и все хотят есть.

Поэтому встаньте возле котла и продавайте чолнт. По семь, а лучше по девять лир за кулек. За полчаса вы распродадите все, котел не так уж велик. Будьте вежливы и оттащите пустой котел к дверям ресторана.

По дороге домой обменяйте мелкие деньги на крупные купюры. Рабочий день закончен.

Домой вы придете усталый, но с чувством удовлетворения за ненарасно прожитый день. Выражение вашего лица обрадует вашу женщину. Развалитесь небрежно в кресле и попросите немного спиртного, чтобы расслабиться. Молча покопайтесь в своем ящике; пачку денег вытащите со всем художническим пренебрежением к земным благам. Пробормочите что-нибудь про американцев, которые мешали вам работать — "чтоб отвязаться, я продал им несколько набросков" — и очень естественно, с трудом волоча ноги, отправляйтесь в спальню.

Сегодня вы доказали, что ваше творчество полезно — завтра можете спать до изнеможения. Проснувшись, почитайте, погуляйте и убедитесь, что мир прекрасен. И завтра же вечером подумайте (немного, чтоб не испортить удовольствие от по-настоящему прожитого дня), в какую больницу вы пойдете утром, и припомните, где, по вашим расчетам, снят ресторан для свадьбы.

Я. Цигельман (р. 1935) — писатель и журналист, окон. филфак ЛГУ, с 1973 г. в Израиле, дебютировал повестью "Похороны Мойше Дорфера" ("Сион", № 17), печатается в израильской русскоязычной прессе, работает на израильском радио.

Товарищ президент!

Вы недавно заняли свой высокий пост. Вам предстоит совершить дело восстановления справедливости.

Речь идет об уничтожении воинствующего антисемитизма в математике.

Явление это, которое всегда отвергали люди культуры, тем более нетерпимо в наши дни, когда "полная и окончательная ликвидация... национального гнета и расовой дискриминации... — оптимистическая перспектива, которую предлагают миру коммунисты", и особенно оно нетерпимо в среде ученых, цель жизни которых — непрестанные поиски истины.

Речь не идет, как обычно в таких случаях, о чем-то бесформенном и неуловимом. Конкретные адреса: Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР, Экспертный совет по математике и механике ВАКа. Конкретные люди. Я назову лишь некоторых из них, наиболее активных. Академик И. М. Виноградов, члены-корреспонденты АН СССР А. И. Ширшов, Ю. Л. Ершов, С. В. Яблонский, доктора физико-математических наук А. А. Карацуба и П. Л. Ульянов. То, что они делают, — это преступление против науки, не говоря уже о мотивах, кото-

Григорий Фрейман

**ОКАЗЫВАЕТСЯ,
Я ЕВРЕЙ**

(продолжение, начало см. № 9)

рые не только аморальны, но и наказуемы по советской конституции и законодательству.

Они сознательно и целеустремленно в массовом порядке отклоняют через Экспертный совет ВАКа хорошие диссертации, авторы которых — евреи. Дело это преступило все рамки "меры и приличия": отклоненные докторские диссертации насчитываются уже десятками, кандидатские — многими десятками, а может быть — точный счет покажет, — и сотнями. Это — беспрецедентно, ничего подобного не было во всей истории науки!

Дело зашло так далеко, что не пытаются соблюсти и видимость благопристойности: среди вызываемых на экзекуцию на заседание Экспертного совета две трети, три четверти, а есть случаи, что все сто (!) процентов — евреи.

Когда Вы начнете разбираться в сути дела, а разобраться необходимо ради здорового будущего нашей науки и нашего общества, Вам откроется клоака научной беспринципности.

Отрицательные отзывы, заведомо лживые, чисто вкусовые, игнорирующие всякие нормы научной критики, откровенно безграмотные.

Заседания, в пятнадцать-двадцать минут отклоняющие работы, подводящие итог многолетнему сложному труду, имеющие положительную оценку многих специалистов, международное признание. Вынесение обоснованного решения в таких конфликтных ситуациях требует длительного детального разбора, не ограниченного во времени. И вот — обсуждают что угодно, но не суть, участники обсуждения плохо представляют себе предмет, но активно ратуют за отклонение, специалисты на заседания не допускаются и остаются стоять за дверью, хотя и настаивают на праве высказать свое мнение. Зачем? Знающий человек может лишь помешать!

Все члены Экспертного совета, все эксперты ответственные, хотя и в разной степени. Многие из них уступили давлению, не желали конфликта, не хотели поступиться привилегиями. Освободите их от гнета, они сразу же расскажут Вам, что они не хотели, что они не знали, их заставили.

Я заключаю.

Я обвиняю Ивана Матвеевича Виноградова в том, что он является главным организатором и вдохновителем антисемитизма в нашей математике. Пусть на склоне лет задумается он, кого

увидит, глядясь в зеркало Истории: выдающегося творца или отравителя духа справедливого научного исследования.

Я обвиняю Анатолия Алексеевича Карацубу в том, что он, в противовес практически всеобщему мнению специалистов, шельмовал и проваливал хорошие и даже выдающиеся работы по теории чисел, руководствуясь лишь национальными антипатиями. Пусть его больная совесть не дает ему покоя!

Я обвиняю Юрия Леонидовича Ершова и Анатолия Илларионовича Ширшова в том, что они создали нетерпимое положение в алгебраической науке, преследуя всех людей, не разделяющих их крайние взгляды.

Я обвиняю Петра Лаврентьевича Ульянова, который при приеме в МГУ нарушал нормы справедливого отбора, способствовал провалу хороших диссертаций в МГУ и в Экспертном совете.

Я обвиняю Сергея Всеволодовича Яблонского в проведении расовой политики в математической кибернетике.

Я обвиняю Экспертный совет ВАКа по математике и механике в нарушении своего служебного долга, выразившемся в многократном отклонении диссертаций математиков-евреев, заслуживавших утверждения.

Я обвиняю математический институт Академии Наук в том, что там царит дух антисемитизма и нетерпимости, отравляющий математическую жизнь.

Вы должны вмешаться и оздоровить положение. Пусть не останавливают Вас соображения чести руководимого Вами высокого учреждения, она не пострадает.

Нужно:

Полностью сменить состав Экспертного совета.

Виноградова срочно отправить на пенсию.

Широко открыть все форточки в Стекловском институте — там пахнет трупом.

Слова, которыми человек великой души закончил свое историческое письмо, — это и мои слова.

Вы должны олицетворять, возглавляя советских ученых, высокие принципы научной чести, стремления к истине и справедливости. Так выполните же свой долг!

Примите, товарищ президент, уверения в моем глубочайшем уважении к Вам.

Григорий Фрейман, профессор, доктор физико-математических наук.

Иван Матвеевич Виноградов

“... родился 14 сентября (н. ст.) 1891 г. Отец его Матвей Авраамьевич был священником на погосте Милолюб Великолукского уезда Псковской губернии... родители отдали его... в реальное училище в уездном городе Великие Луки (1903 г.), куда отец Ивана Матвеевича переехал из Милолюба со всей семьей, получив место священника Покровской церкви”*.

Возможно, уже из впечатлений детских лет развивается его ненависть к евреям — одна из существенных, главных пружин, побуждающих к деятельности его активную натуру. Другие его основные страсти — жажда власти и любовь к математике. Математик он был замечательный, здесь спору нет.

О своем отношении к евреям И. М. всегда говорит вслух, хотя и за спиной.

Н. В период защиты кандидатской диссертации много времени провел в Стекловке и неоднократно встречался с Иваном Матвеевичем. Он свидетельствует, что когда в кабинете И. М. собирается два-три человека из его приближенных, то любой разговор, с чего бы он ни начинался, через пятнадцать-двадцать минут переходит в основное русло — со вкусом и увлечением начинают ругать евреев.

Немчиновы жили в академическом поселке, и их дача стояла рядом с дачей И. М. Академик Виноградов часто видел их через забор, но никогда не подходил и не здоровался.

И вдруг он подошел к Немчиновой и сказал:

— Здравствуйте, Мария Ивановна, а я-то ведь думал, что вы с Василием Сергеевичем евреи!

Когда И. М. позвонили сверху, ругая Шафаревича, тот ответил:

- Шафаревич не еврей.
- Но он такой и сякой...
- Он не еврей, я сам проверял.
- Да, но...

* Б. Н. Делоне. Петербургская школа теории чисел. 1947, с. 321.

— Шафаревич не еврей, а до остального мне дела нет.

Думаю, что этот знаменитый анекдот имеет некую реальную основу.

Когда И. М. не понравился чем-то математик Сабиров, он сказал:

— Какой же это Сабиров, это же Шапиро!

Моего учителя Александра Иосифовича Гельфонда И. М. называл за глаза не иначе, как Сашка-жид.

Прекрасный администратор и политик, И. М. вот уже несколько десятилетий держит в руках все рычаги управления математической жизнью. Все реальное — выборы в Академию, присуждение премий, посылка за границу — все это делается по его решению и под его контролем. Возможности остальных академиком-математиков, как бы знамениты они ни были, невелики. Например, Марка Григорьевича Крейна много лет подряд выдвигали на Ленинскую премию. Наконец Александров, Колмогоров и Петровский опубликовали в “Известиях” статью, в которой они настаивали на необходимости присуждения Крейну премии, но безуспешно.

Когда я узнал, что Карацуба готовит отклонение работы Б., я решил повидать И. М. — третий раз в жизни.

Впервые я встретился с ним, когда он присутствовал на моем докладе на Третьем математическом съезде летом 1956 г. После доклада он сразу встал, подошел ко мне и сказал с одобрением:

— Ничего, — потом сделал паузу и повторил: — ничего, ничего... И ушел.

Во второй раз встреча состоялась незадолго до защиты мною докторской диссертации в начале 1965 года. Я был приглашен в Стекловку и долго гулял по коридору второго этажа, возле кабинета директора. Наконец вдали коридора появился И. М. — грузная, массивная, невысокая фигура, сутулый, с наклоненной вперед большой обритой головой, руками, свисавшими по бокам его сильного туловища чуть не до полу — похожий на орангутанга. Мы прошли в его кабинет, и мне была устроена торжественная встреча, почти на два часа. Я подарил И. М. все свои работы, рассказал о своих результатах и получил его одобрение. И. М. говорил неторопливо, с отступлениями в прошлое, с рассказыванием всяких случаев, анекдотов, что придавало вкус беседе и давало время подумать о серьезном.

Больше я его не видел и, зная его антипатии, не стремился к личной встрече, хотя область научных интересов у нас одна, и я многое почерпнул из его трудов.

И вот теперь, в решительный момент, я задумал к нему обратиться. Все обмозговав, звоню к нему домой, представляюсь, предлагаю обсудить общие научные проблемы. И. М. сразу узнал меня, сказал, что болен, предложил встретиться, когда выздоровеет.

Месяца три ходил я к Константину Васильевичу Бороздину, личному помощнику Виноградова, не математику, но человеку весьма умному, дотошному и великому администратору.

Он каждый раз меня выслушивал, внимательно и даже приветливо объяснял, почему И. М. отсутствует или чем он занят, и приглашал зайти или позвонить на следующей неделе. Я потерял было надежду, но однажды К. В. пригласил меня на четверг, сообщив, что встреча планируется.

Поднимаясь в четверг по лестнице, я столкнулся с тремя молодыми неграми, которых сопровождал ответственный сотрудник института.

— И. М. собирался вас принять, однако сейчас он будет принимать негров... — К. В. говорил в своей лапидарной манере, отмеряя слова. Здесь он сделал паузу, подумал и добавил: — и арабов.

— Раз так, — сказал я, — придется подождать.

Через минуту негры проследовали в кабинет, арабов никаких не было, и я понял, что это была просто тонкая шутка К. В.

В этот день я к И. М. не попал. Но вот пришел следующий вторник.

Секретарша в пустой приемной вежливо пригласила меня присесть, прошла в кабинет И. М. и пригласила войти. И. М. восседал за большим письменным столом, стоявшим слева у стены между двумя большими окнами. На противоположной стороне огромного кабинета висела большая доска. Когда я вошел, И. М. поднялся, подал руку, пригласил сесть на стул, стоявший у стола по правую руку от него. Разговор начал разворачиваться неторопливо, чего я и ожидал, вспоминая его манеру. Тем неожиданнее оказался для меня финал.

Я напомнил о последней нашей встрече, о моих занятиях общими закономерностями аддитивной теории чисел. И. М. подтвердил, что он об этом помнит. Я сообщил, что удалось получить приложения моих идей в теории вероятностей. И. М. стал

развивать тогда свою излюбленную тему о связи формы и сути в математических исследованиях. Это извечный спор математиков двух направлений, который у Бурбаки в "Архитектуре математики" выражен в противопоставлении стратегического подхода (форма) и тактического подхода (суть). Что же важнее — общность или результат? Думаю, что результат. Так же думал и И. М.

Я решил понемногу приступать к делу:

— В последнее время я очень заинтересовался знаменитой задачей Маркова.

— Так эта задача, она что, — сказал И. М., запинаясь, — она не то, что предлагал Делоне?

Фраза эта, как вспышка молнии, осветила ситуацию, сделала ее предельно понятной. Говорила она о многом. Именно в задаче Маркова получил серьезное продвижение Б., и этот-то результат и обсуждал Карацуба с Виноградовым, докладывая о нем, как о продвижении в некоей никчемной задаче, предложенной Делоне.

Я и раньше знал, что для И. М. пустяков не существует, каждую мелочь он держит под контролем. Итак, по диссертации Б. Карацуба получил от И. М. точные инструкции, и провал работы организуется по его указанию.

Я неопределенно кивнул головой в ответ на его вопрос и предложил:

— Разрешите, я кратко охарактеризую результат по существу?

И. М. согласно кивнул головой, я встал и прошел вперед, к доске.

Тут в кабинет вошла секретарша, подошла к И. М., наклонилась к нему. Я, увлеченный рассказом, не обратил внимания на это, но позднее, обдумывая происшедшее, я ясно вспомнил, что он сказал ей коротко:

— Посидите.

Она села на стул, который только что занимал я.

Я продолжал свой рассказ.

В этот момент обстановка в кабинете резко изменилась. Исчезли тишина и спокойствие. Распахивалась и закрывалась входная дверь. Вошли-то, собственно, два человека, Бороздин и Мищенко, заместитель директора, но казалось, что ворвалась целая толпа. Они открывали какие-то папки, протягивали И. М. на подпись

какие-то бумаги, толпились вокруг стола, сразу отделив от меня ранее столь доступного И. М. непроницаемой стеной.

Я не сообразил сразу, что происходит, но инстинктивно почувствовал, что следует закругляться.

— Главное я рассказал, — сказал я и прошел к столу, причем сателлиты И. М. вились вокруг стола в немом танце так, словно я мог, приближаясь, причинить некий вред их любимому начальнику, и они стремились защитить его, преградив путь ценою собственной жизни. Мне едва удалось протиснуться.

— Я посмотрю, посмотрю, — сказал И. М. — Вы уж извините. Он жестом показал на толпу, на ждущие подписи бумаги.

Я направился к двери, но он поднялся от стола, грузная сгорбившаяся массивная фигура, протянул руку. Я пожал ее, снова еле протиснувшись сквозь замкнутый строй его вассалов. И — покинул поле боя.

Только в коридоре понял я, что произошло. Услышав фамилию Б., он понял, к чему я клоню, и стал бешено нажимать кнопки на своем письменном столе, вызывая всех своих помощников, которых он заранее проинструктировал, как действовать, когда придет момент меня выставить.

(Окончание следует.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

выпускает в первом квартале 1980 г. повесть Юрия Милославского

"УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА",

первая часть которой "Собирайтесь и идите" была опубликована в журнале "22" № 3 и вызвала шумные споры в Израиле и за рубежом. Предварительная цена книги — в Израиле 200 лир, за рубежом — 10 долларов. Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Что объединяет авторов десятой книги нашего журнала? Та особая позиция, которую одни из них именуют "израильской", другие — "библейской", третьи — "еврейской", четвертые — просто нравственной и которая диктует предельно серьезное отношение к жизни и культуре, действительности и искусству; позиция, с которой культура — существенна, ибо имеет дело с вопросами жизни и смерти и воистину "не читки требует с актера, а полной гибели всерьез", а жизнь понимается как феномен насквозь "культурный", ибо одухотворенный творческим Замыслом, отчего так трудно бывает определить, "где кончается искусство и дышат почва и судьба..."

Майя Каганская

СТРАСТИ ПО МУЗЕЮ

Итак, дорогой друг, Вы наконец-то приняли "окончательное решение" и уже "в подаче".

Отказ маловероятен: кому нужна "музейная крыса", как Вы с усмешкой рекомендовались последние годы, или "хранитель древностей", как, любя, но тоже не без усмешки, называют Вас друзья (да и Вы сами в тесном кругу после третьей рюмки предпочитали этот титул имени-отчеству) ?..

Анкета Ваша безупречна: "не был", "не состоял", "не служил", "не имею"...

Официально заверенное отщепенство там дает Вам право обзавестись трехмиллионной родней здесь.

Конечно, музей музею рознь и, причастись Вы каким-нибудь вулканическим архивным породам, залегающим на полуподвальных и подвальных глубинах, каким-нибудь горючим материалам новейшей отечественной истории, которые сами собой воспламеняются от соприкосновения с дневным светом, — тогда, возможно, Ваш шаг и мог бы обернуться отчаянным прыжком в пустоту "отказа", хуже — в его суету, ту самую, от которой Вы так давно и удачно бежали в свою музейную пустынь.

К счастью, ничего похожего нет и не было. А есть, вернее — было (с работы ушли, конечно,

“по собственному желанию”?): парк в Павловске, смесь тумана, разбухших хлопьев и блоковских строчек — зимой; летом — несмелая зелень, черная в белые ночи, шелковый шелест листьев и платьев из парковых сцен Достоевского (помню давнюю Вашу прелестную работу, отвергнутую всеми редакциями: “Павловский парк как персонаж романа Достоевского “Идиот”) и на все времена года — мандельштамовская “Музыка в Павловске”.

Каждое утро Вы проходили Павловским парком, как проходили в школе хрестоматийные тексты: заучивая наизусть.

На дворцовой площадке Вас давно поджидал надменный мальчик в высоких ботфортах, до блеска отмытых снегопадами и дождями. Украдкой он салютует Вам узкой обнаженной шпагой. Балтийский ветер силится приподнять края треуголки и косичку, прижатую к вороту офицерского мундирчика прусского покроя.

Было два императора Павла: один — исторический, другой — Ваш, вот этот чернораморный подросток, высокомерный и впечатлительный, чье будущее — не без оснований — Вас тревожит.

“Музей, — говаривали Вы, — это место, где история переходит в культуру и тем получает смысл и оправдание. Музей — имперская игрушка, сказка о заморской принцессе, услышанная в детстве наследником престола. Потом он придумывает взрослые мотивы, вроде расширения границ и пространства. На самом деле цель другая: собирание пространств, “мирок в табакерке”. Империи проходят и уходят — музеи остаются. Не говорите мне о почве и судьбе: моя почва — паркеты павловского дворца, моя судьба — его вещи. Я живу не в чужой истории, а в своей культуре, среди французской парковой архитектуры, английской живописи, саксонского фарфора и русской литературы...”

... У нас сегодня хамсин и суббота. В переводе это жара и тишина. Обе ненарушаемы: слово, с трудом добравшись до губ, непронесенным соскальзывает обратно, как путник с вершины, на которой не за что ухватиться; душ соскальзывает с поверхности кожи, не проникая в поры. Сейчас мое письмо — нечто вроде “эр кондишн”, искусственная прохлада воспоминаний, уход в любое из тех осенне-зимних утр, когда я, загостившись у Вас то ли вторую, то ли третью неделю, привычно, как на собственную службу, провожаю Вас на работу. Клочковатые облака и тучи еще сталкиваются в небе обрывками никого не убедивших аргументов, но эта стенограмма ночной беседы уже уступает место очередной попытке переписать день наново. Ночное вдохновение, с которым снег по-

крывал одну за другой улицы, аллеи, ограды, растеклось невнятными лужами. Навстречу нам из тумана проступает подтянутый контур дворца, слабо связанный с окружающим единством замысла.

У нас в руках пластмассовые ведра с тряпками и швабрами: мы идем смывать и счищать со статуй энергичные буквенные трехчлены, которыми вчерашние посетители выразили свое отношение к истории и культуре.

В буфете музейные дамы, приехавшие первой электричкой, попивают утренний кофе, обмениваясь театрално-семейными новостями, заполняют тушью и помадой пробелы на своих непроспавшихся лицах и торопливо перелистывают конспекты маршрутов очередной партии творцов и поклонников наскальных изображений.

Сегодня у Вас хороший день: нет экскурсий. Вместо них — подготовка выставки обеденных сервизов 18-го века в Тронном зале Большого дворца. Ко мне привыкли, и я лениво плетусь за Вами — помогать; лениво посмеиваюсь над привязанностью покойного императора к домашнему уюту и Вашей — к императору, а Вы так же лениво отругиваетесь, уголком скошенного глаза напряженно следя за тем, чтобы я не слишком приближалась к экспонатам: если что и роднит меня с князем Мышкиным — это способность разбить китайскую вазу в любом месте и при любых обстоятельствах.

...Окно, выходящее в беспросветно синее небо, вдруг подернулось изморозью. И, как всегда, — озноб от перехода из промозглых улиц в прогретые залы музея (не исключено, впрочем, что это хамсин: от него тоже знобит) .

И только одно от меня ускользает: мои тогдашние чувства. Сейчас я ближе Вам, чем в те далекие дни в Павловске. И если Вы, оказавшись здесь, поймете меня нынешнюю, как я понимаю Вас прошлого, — мы снова традиционно выпьем за то, что не разминулись во времени и пространстве. Но выпьем иначе, чем в России: не по хмельной компанейской восторженности, не по застольному отцепенскому братству, а с тем чувством близости, которое дается только совместно разделенным опытом.

То ли возраст, то ли действительно искусство кончилось, а почва и судьба дышат так усердно, что почти душат, — я теперь иначе отношусь к Вашему затянувшемуся роману с культурой, даже в ее музейно-сервизном облике.

К прошлому я не привязана. Прожитое и пережитое, особенно

пережитое сильно, вызывает у меня — в воспоминаниях — тошнотную спазму. Прошлое не сближает — только настоящее, да еще то из будущего, что грамматически выражается в формах настоящего времени, то есть будущее ближайшее: “иду”, “бегу”, “еду” в смысле “сейчас приду, прибегу, приеду”. Потому и пишу Вам, что “еде-те”, потому и не писала три года, несмотря на многолетнюю дружбу и Ваши, передаваемые вместе с приветами, обиды: письма в прошлое кажутся мне не меньшей безвкусицей, чем обмен эпистолярными исповедями людей, живущих под одной крышей.

Нет, прошлое решительно не имеет надо мной власти...

А все же какая-то ностальгия присутствует. Смутная, как хроническое недомогание, иногда она отвердевает узелком памяти, комом в горле, стягивается в четкое изображение, заполняет экран. И не лица оставленных друзей я вижу на нем: кто не со мной — тот не мой, общность исторической судьбы — необходимый признак не только нации, но и дружбы (любви — подавно). И не город, в котором родилась и прожила так долго, что умри я там перед отъездом — сказали бы: “...Ушла в расцвете сил” (каковой “расцвет”, в отличие от “рассвета”, одинаково приложим к любому десятилетию между тридцатью и шестьюдесятью). И не другие города, в которых было достаточно хожено, говорено, люблено, плакано... Нет, моя “доисторическая родина” не Киев, не Москва, не Ленинград, а — предгрозье, преддождье, предснежье. Покинутая культура — не музеи и концертные залы, а листопад, когда, обугленные ржавчиной, кружат листья над городом (все равно — каким). И не в гул отзвучавших бесед вслушиваюсь я по ночам, а в гул косых летних ливней, что широкими стежками подшивают землю к небу (все равно какую — все равно к какому). Чувство утраты? Да. Оно есть. Но не плоти языка, как Вы предполагаете, а плода каштана, безупречного, как безделка, сработанная Челлини.

Это о ностальгии... Что до израильских музеев — я расскажу и о них. Но не раньше, чем повожу Вас абзацев сорок по моим накопившимся пустыням: оно и методологически верно (как всякий культурный “текст”, музей нуждается в контексте), и психологически необходимо именно по отношению к Вам, считающему культуру синонимом жизни, а музей — синонимом культуры.

Помните, в детстве, шатаясь по городу, мы часто играли в “уличное очко”? Только в государстве, где бедность не живописна, а бесцветна, где глаз страдает острым авитаминозом из-за нехватки впечатлений, могли придумать игру, построенную на не-

возможности или малой вероятности что-то увидеть. Самое же любопытное, конечно, было в том, что именно почиталось у нас редким, маловероятным или невероятным совсем: первый приз — сто — полагался за милиционера в очках; забыла уже, что считалось минимальным, но помню, что беременная женщина оценивалась то ли в пятьдесят, то ли в шестьдесят очков, то есть примерно в половину стоимости интеллигентного милиционера (которого, конечно, никто никогда не встречал). Израильские школьницы — уверена — в такие игры не играют: в стране, где сотни японцев, увешанные могондавидами в рост их самих, размахивая белоголубыми флагами, расхаживают по городам с пением израильских песен на “израильском” же языке; где негры в кипах, припиленных к вьющимся джунглям, истово бьются головой о Стену Плача, требуя от Господа немедленного восстановления Храма, а евреи с пейсами и повадками шолом-алеихемовских персонажей на других стенах, не Плача, но тоже невеселых, старательно решают уравнение на тему “сионизм — фашизм”*, — в такой стране невероятно само понятие невероятности.

Так вот, в Израиле то же, если не большее число очков, которое мы когда-то в России давали за женщину беременную, полагалось бы — за небеременную. И была бы израильтянка просто беременна... Ну, была бы она беременна одним ребенком, ведя за руку (даже неся на руках) другого... Но у нее, как правило, по ребенку в каждой руке, еще один (или два) в коляске и еще один (или два), как говорят здесь, “бадерех” — “в дороге”, “на подходе”... А поскольку все ее, доступные наблюдению, дети похожи друг на друга, возникает эффект средневекового примитива или народного лубка, где последовательность во времени передается одновременно в пространстве. Как будто одно и то же человеческое существо на разных этапах своего прохождения через жизнь вдруг развернулось перед тобой веером...

С точки зрения национально-патриотической и просто инстинктивно женской эта обыденная жанровая картинка изобильного плодоношения не может не радовать. Но где-то глубже естественных чувств или в стороне от них, во всяком случае — к ним отвесно, шевелится нечто, похожее на раздражение, почти брезгливость. Брезгливость не физическая, не личная, скорее — личност-

* Речь идет о членах религиозной секты Нетурей Карта из иерусалимского квартала Меа-Шаарим, не признающих “сионистское государство” (прим. ред.).

ная: личности к роду. Протест против тиражирования типа вопреки шлифовки единичного. И, конечно, — мысли о смерти, в которую погружена в Израиле жизнь.

Жизнь и смерть не играют здесь друг с другом в поддавки, в шарманочную "амбивалентность" ("жизнь, чреватая смертью"), не сводятся к заношенным универсалиям ("Дания — тюрьма, весь мир — тюрьма"); не постигаются даже через особое положение народа, живущего в антрактах между военными действиями, как актеры (не зрители!) во время спектакля — между действиями театральными... Нет, понятие жизни и представление о смерти разделяют в Израиле судьбу других предельных, элементарных формул, категорий и терминов, выражающих самые главные черты реальности и самое общее отношение к ней сознания: они конкретны, как уличное происшествие, остросюжетны, как информация о нем в газете, и захватывающи, как бракоразводный процесс близких друзей.

"В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью".

Так почти два тысячелетия тому назад еврейский эссеист в характерной для той эпохи смешанной стилистике причитаний и поучений запечатлел мой опыт проживания на Святой Земле, который я сейчас силюсь передать Вам.

В Израиле нет слов — только плоть. Плоть времени и плоть камня, плоть жизни и плоть смерти, плоть любви и плоть ненависти... Неповторимая и смертная, как всякая плоть — в отличие от бессмертного общего слова.

Когда я говорю о жизни в контексте смерти, я имею в виду не археологические раскопки в толщах культур, — но иерусалимскую улицу минут через двадцать после очередного взрыва средней мощности.

Исходят в отдалении пронзительным воем санитарные и полицейские машины, как трубы выездной сессии Страшного Суда. Непривычно свежо, почти празднично блестят отмытые мостовые и тротуары: ни пятнышка крови, ни следа ожога. Только зияющие витрины нескольких кафе и растерянный вид выставленных там пухлых пирожных напоминают о каком-то недавнем скандале.

Улица открыта для движения пешеходов — и первыми устремляются в нее детские коляски, сталкиваясь боками, подставляя друг другу колесики: мамы, не по своей вине нарушившие режим младенческого дня, торопятся детей накормить, наспать, наиграть...

Вы, разумеется, вольны увидеть в этом возвышенное (в своей простоте) доказательство победы жизни над смертью, "оптимистическую трагедию". Если Вы обладаете умом более взыскательным — поиграйте в "карнавальность", "амбивалентность", "предельную ситуацию" и прочее, во что, как в "уличное очко", играют сбежавшие с лекций отличники.

В России во все это играется хорошо: страна, по преимуществу, словесная. Грань между историей и культурой, жизнью и литературой настолько зыбка и незаметна, что до сих пор так и не ясно: Сенатская площадь декабрьским утром 1825 года — это историческое событие или бродячий литературный сюжет; сами декабристы — традиционные персонажи наподобие масок "комедия дель арте" (Рылеев — Пьеро, Пестель — Арлекин, а пропавший Трубецкой — Коломбина) — или люди, действовавшие в историческом пространстве? И уже прямо на наших глазах возникла "лагерная литература", да такого охвата, такой "формобразующей тяги", что опять диву даешься: было или не было? Например, очередной судебный процесс над "инакомыслящим" — замысел (властей) или вымысел (автора)? Да и судебный ли это процесс — или сцена судебного процесса из романа, продолжение которого следует и ожидается с тем большим нетерпением, что все основные повороты сюжета расписаны заранее?

"Русский роман" ныне читают так, как древние греки ходили в свои мифотеатры на свои мифотрагедии: не на события (они известны), а на слог и "подачу материала".

Авторы текущей "лагерной литературы" в качестве ее же персонажей неслыханно экономят время, обычно трудно распределяемое между жизнью ("записал") и творчеством ("пережил"). Они ли совершают нечто, с ними ли нечто совершается, они производят действие или действие производится над ними — все одинаково оборачивается готовым текстом самопишущейся книги.

А если и предположить смело, что происходившее и происходящее в России — реальность, то не задумана ли и она ангелом-хранителем российской словесности специально для поддержания ее, российской словесности, неповторимо-страдальческого и нравственно-вопросительного облика?

Все — для слова, все — для победы: "на литературном фронте".

А в Израиле, как я уже Вам докладывала, слов — нет. Одна реальность. Во плоти. А плоть страшна. А запах ее, как справед-

ливо отмечено, "душный и смертный". И рад бежать — да некуда. Ужасно...

...Я спокойно отношусь к виду собственной крови и с содроганием — к чужой. Это не доброта, не сострадание, но свойство противоположное, точнее — не имеющее к доброте и состраданию прямого отношения: абсолютная уверенность в реальности собственного существования и некоторое сомнение в существовании других.

Кровь из чужого пальца неотличима от моей и заставляет почувствовать реальность другого с той же мучительной безусловностью, с какой чувствуешь собственную.

Так безусловна (а значит — мучительна) реальность в Израиле.

Я говорю даже не о взрывах, не об угрозе войны, — но о той первичной данности, в которой все мы существуем и которую называют "природой"...

Только, ради Бога, не рассказывайте мне о Вашей любви к природе, особенно к русской природе. Необъятные русские просторы на самом деле умещаются внутри глаза, не имеющего вовне твердой опоры. Вы сами — зрачком — собираете в единый образ веснушки куриной слепоты, одуванчиков и лютиков, щедро рассыпанные по плоскому лицу полей и лугов с проступающими на нем скулами холмов, холмиков и горок, — образ тем более Вам дорогой, что Вы сами создаете его очарование.

В России природа хорошеет вам в награду. Можете не замечать ее — она не в претензии.

В Израиле природа ... нет, не давит — она просто не обращает на вас внимания.

Случалось Вам нечаянным свидетелем, невольным соглядатаем присутствовать при чужой страсти (чувстве, а не действии) ?

Допустим, у Вас свои заботы, свои проблемы, свои твердые представления, по которым страсти не то что не бывает, а — "прошли времена и безграмотно". Или напротив — судьба одарила Вас любовью, достаточной для того, чтобы в графе "чувства" не красовался прочерк. Короче, вы неуязвимы. И вдруг — ваша оборона прорвана, чужая страсть хлынула в пролом, а вы и не заметили, как и в какую минуту это произошло. "Мир только изменил оттенки, не меняя основных цветов", — успокаиваете вы себя. Но ваши неловкость и тревога растут, непричастность к происходящему захлестывает вас с безутешностью детской обиды; жар, долетающий с той стороны, пробегает по коже знобким холодом

одиночества и отчужденности; вы понимаете, что ваше присутствие нужно только для того, чтобы они еще острее почувствовали свою близость в чужом, избыточно ненужном мире. Даже если встать и уйти — не поможет, слишком поздно: безразличная к вашему существованию страсть, как и положено большой массе, уже при тянула вас к себе, изменила направление ваших чувств, движение мыслей...

Теперь: “расчеловечьте” эту страсть, освободите ее и от того, кто ее испытывает, и от того, к кому она направлена (не делите на “объект” и “субъект”: эта страсть — разделенная, значит — удвоенная); замените грамматически и по смыслу безупречное, но редко употребляемое выражение: “Я испытываю страсть” — выражением тоже грамматически безупречным, совсем неупотребляемым и совершенно бессмысленным: “Страсть себя испытывает мною”; помножьте ее, себя испытывающую страсть, на 285 солнечных дней в году и 50 (тоже в году) хамсинов; на белый камень, который издали — в постройках и сам по себе — кажется воздушным; помножьте на неподвижно синее небо, которое давит, как камень; на деревья без единого зеленого побега, но цветущие лиловыми и красными цветами; помножьте на пустыню, которая всегда за тобой и у которой ты всегда на прицеле; еще раз помножьте эту страсть на самое себя — и Вы получите израильскую природу. Она четырехмерна: дополнительное измерение — страсть.

Заклинают: “Да хранит тебя моя любовь”. Но кто осмелится сказать: “Да хранит тебя моя страсть”?

Любовь встречается редко, страсть — почти никогда, но ее тяга к самовысвобождению, “автоэмансипации” известна, как известно про выдуманного дракона, что он огнедышащий.

Всякое свойство стремится здесь стать монопольным качеством: белые иерусалимские каменные дома — это не дома из камня, а камень в форме дома (как встречаются камни, напоминающие овцу или человеческую голову). Жара и свет отделились от солнца и зажили отдельно: камни излучают свет, свет — в отместку — каменеет.

Ни на мгновение Вы не можете выйти из круга передающихся по цепочке монологов, из которых каждый не то, что с вами, а и с соприродной ему речью никогда не вступает в “диалогические отношения”.

Монологично небо. Монологична земля. Монологичен камень. Монологично еврейство...

Увы, мой друг, Вам суждено охладеть к Буберу (а заодно и к Бахтину), как я к ним охладела: не объясняют, не утешают, не забавляют... Утверждаю на основании нашего душевного сродства.

Вы спросите: "А что же осталось?.."

... Русский еврей впервые приобщается к Израилю не в угрюмой сутолоке ОВИРа, не в кошерной обжираловке венского пересылочного гетто, не в аэропорту Лода, а в ту минуту, когда с трагически-злорадным блеском в глазах доверительно сообщает: "Эйн тарбут баарэц" ("В Израиле нет культуры"). Этот рефрен способен довести до иступления, особенно услышанный случайно на улице, в автобусе — и, конечно, в потоке русской речи; особенно, если ему предшествует надрывное: "В Черновицах мы-таки жили культурнее".

Встречаешь знакомого ("своего круга"). Заходите в кафе. Между двумя глотками кофе рассказываешь только что подслушанный "скверный анекдот по-иерусалимски". Знакомый (непременно москвич или ленинградец) упоенно хохочет: "Культурнее..." Нет, вы только вслушайтесь: "культурнее-е!.. Ох, уж это мне иерусалимское дворянство!.."

Но быстро, очень быстро смех стихает, ложечка бесцельно бродит по опустевшему дну, взгляд приобретает знакомое трагически-злорадное выражение, — и та же жалоба срывается с обиженных губ: "Эйн тарбут баарэц, эйн тарбут... эйн..." И это не цитата, не пародия, не самопародия — это и его искреннейшее, глубочайшее убеждение.

Напрасно Вы перечисляете фильмы Антониони, Феллини и Бергмана; напрасно тычете в отрешенное лицо концертные программы израильских симфонических оркестров (и впрямь великолепные); напрасно повествуете о том, как на прошлой неделе, в прошлом месяце, в полупустом зале, в исполнении фантастического виолончелиста, слушали Шенберга, на которого в России сначала наложили запрет, а потом невозможно было пробиться; напрасно живописуете спектакль "Метаморфоза" (по Кафке, на иврите, в Хайфе) — одно из сильнейших ваших театральных переживаний (а было их у вас немало); напрасно рассказываете о выставке Хоггарта в Иерусалимском музее и о том, что в запас-

никах того же музея (доступ открыт всем) хранятся оригиналы гравюр Дюрера, которые даже можно подержать в руках...

Напрасно... напрасно... напрасно...

В ответ — все то же отрешенное лицо, кружение ложечки в пустой чашке, остановившийся взгляд и скорбный шепот: "Эйн тарбут баарэц..."

И я, мой друг, уже никому ничего не доказываю, не просвещаю и не возмущаюсь. И не потому, что доказательства бессильны перед лицом их отрицающего убеждения, а потому что это я — не другой, не "кто-то" или "некто", а я, именно я сижу в кафе и бормочу: "Эйн тарбут баарэц..."

Не перечисляйте мне фильмы Антониони, Феллини, Бергмана — ходила; не тычьте в лицо концертные программы — слушала; не рассказывайте, что в Иерусалимском музее гравюры Дюрера можно взять в руки — все равно не возьму. Все равно — одна ли (не боюсь) или со всеми (не смущает) повторяю и буду повторять, что культуры в Израиле — нет.

То есть она, конечно, есть: израильские художники пишут картины, композиторы — музыку, поэты — стихи, романисты — романы. Картины выставляются в художественных галереях, музыка исполняется в концертных залах, стихи и романы громоздятся на прилавках. Живопись доступна зрению, музыка — слуху, только романам и стихам (в подлиннике), боюсь, суждено остаться недоступными навсегда (для нас) — из-за присущей нам обоим лени, выдаваемой за неспособность к языкам. Но это литературное недоедание, вызванное закрытостью чужих словесностей, компенсируется (особенно на первых порах) изобилием прежде закрытого русского слова.

Помню, как однажды ночью, в Вашей павловской избушке, когда я, наконец, с трудом уснула после очередной разговорной бестолочи, Вы внезапно растолкали меня... Гриппозный сквозняк гулял по дому, в соседней комнате капризничал Ваш маленький сын и ворчала жена, а Вы стояли надо мной, расстегнутый на все пуговицы, и потрясали такой же расхристанной книгой — Набоковским "Приглашением на казнь", — в которую почему-то были вклеены страницы из "Лолиты" и "Других берегов" (Набокова мы тогда совсем не знали, и вторжение иносюжетных текстов расценили как новаторство и своеобразие стиля).

Книга шумно осыпалась, а Вы причитали: "Как можно числить себя по русской культуре, не зная Набокова?!"

Со свойственной мне в те годы полемической злостью я ответила, что можно и пора спать. Но Вы, разумеется, были правы: не только по русской, а и вообще (и главное) по современной культуре, одинокой и эгоцентричной, числить себя без Набокова — нельзя.

Аккуратные разноцветные томики с дерзкой фамилией на суперобложке (Набоков — “набок...”, в сторону, в стороне) украшают сегодня книжные полки всех моих здешних знакомых. Даст Бог — украсят и Ваши...

... Люди, изнывающие здесь по Театру на Таганке или “Современнику”, обнаруживают детскую привязанность к упаковке, однозначно для них связанной с содержимым. Они тоскуют не столько по театру, сколько по своим театральным ощущениям. Томительно блаженные очереди у театральных касс, утренние спектакли с участием хрусткого морозца и кафе-кондитерской где-нибудь на углу Малой Бронной или Большой Садовой. Обжигающее прикосновение хрустальных башмачков, промерзших в авоське на пути от дома к театру и торопливо надеваемых вместо золушкиных сапог за колонной театрального фойе. Порывы легкого ветерка, пробегающие по партеру, как будто общее затаенное ожидание чуда, не в силах сдержать себя, вырывается наружу. И все эти милые подробности, обкатанные мизансцены, привычные интерьеры и обжитые декорации точно так же (а то и больше) входят в наш образ театра, как и само, совершающееся на сцене, действие.

Мы тоскуем по нашему “театральному роману”, который начинается с вешалки — да там и заканчивается.

Здесь содержимое существует вне упаковки, театральное действие — вне театральных сцен.

Каждый вечер в 9 часов Израиль вымирает: перед экранами телевизоров он смотрит спектакль из прожитой им за день жизни с самим собой в главной роли.

Метафора: “мир — театр”, которую и последний бедняк не поднимет с земли по причине ее безнадежной избитости, здесь по ходу передачи теряет тире и кавычки, особенно если это театр военных действий... А таковых не занимать.

О, как неотразимы израильские генералы в роли израильских генералов, члены парламента — в роли членов парламента, простой человек с улицы, дающий интервью, — в роли дающего интервью простого человека с улицы!..

Профессиональные израильские актеры в аналогичных ролях настолько же менее убедительны, насколько телевизионный репортаж или уличная жизнь убедительней здесь инсценировок, постановок, спектаклей...

Культура и бытие в Израиле поменялись не местами, а — ролями: в бытии угадывается продуманность замысла, упорядоченность материала — от общей идеи до жанра, та ритуализованная форма, которую мы традиционно приписываем культуре, противопоставляя ее хаосной и бесструктурной реальности.

Реальность в Израиле нуждается не в художественном "изображении", "отражении" или "преображении", а в тщательном филологическом анализе на подступах к авторскому замыслу.

Культура относится здесь к действительности, как "Убийство Гонзаго" — к "Гамлету" или пьеса, написанная Треплевым, — к "Чайке", написанной Чеховым.

Ни пьеса, сыгранная в Эльсиноре заезжими актерами, ни "мировая душа", сыгранная Ниной Заречной, не могут соперничать с основным текстом. И не потому, что персонаж неизбежно уступает автору (Гамлет — Шекспиру, бродячий актер — Гамлету, Треплев — Чехову): "театр в театре" демонстрирует большую сложность и важность бытия, в роли которого выступает авторский театр, чем сопровождающего бытие искусства (театр персонажей).

Отсюда, с этого поворота моих блужданий, уже различим обетованный ответ на вопрос, почему в Израиле культуры нет, хотя она как будто есть, почему душа голодает там, где насыщаются глаз и ухо? почему чувство утраты разделяют люди, не имеющие между собой ничего общего, кроме этого чувства?

Оценка израильской культуры колеблется между утверждением, что ее нет вообще, и указанием на ее провинциальность. Разумеется, в Израиле есть свой провинциальный пласт, достаточно плотный для того, чтобы изгнанник из черновицкого духовного рая не дрожал от стыда и холода, созерцая свою культурную наготу. Но он дрожит. И меня пробирает дрожь. И Вас берет...

Исчезла не культура — исчезли ее защитные свойства. Выцвели под израильским небом, как шелка и ситцы, привезенные из России. Исчезла культура — театральная занавес между нами и реальностью, заместительница, "исполняющая обязанности" жизни. А только такую мы знали, только с такой и жили...

Культура в Израиле провинциальна не относительно неведомо где пребывающего центра, но относительно самого бытия. Она периферийна по отношению к нему, как периферийна (и провинциальна) пьеса Трелева в сравнении с пьесой Чехова.

...Есть один нелюбимый мною психологический закон, трудно поддающийся формулированию, но в проявлении не менее очевидный, чем иные физические законы — например, расширения тел при нагревании. Я называю его “законом компенсации за счет суррогата”. Или за счет аналогий. В России я презирала подстановки, основанные на компенсации, и компенсации, живущие подстановками: “одно вместо другого” и “другое” — вместо всего. Поэтому и не любила там жить “культурной жизнью”: вся она представлялась мне одной сплошной компенсацией. За все. И прежде всего за то, что вне “культуры” (а по мне — даже и с ней) страна сия “безвидна и пуста...”

Я не люблю компенсаций, и потому всегда отказываюсь от роли новогоднего подарка, недополученного кем-то в детстве, равно как и от роли источника страдания, которое с моей помощью должно кого-то, нестрадавшего, очистить и возвысить. Я не люблю компенсаций, и потому стараюсь не смотреть на других взглядом реставратора, ищущего под видимым изображением “черты другие”; и точно так же не выношу, когда “черты другие” ищут во мне, — безразлично, черты ли это позапрошлой любви или поколения, к которому я будто бы принадлежу. Нельзя нанести мне большего оскорбления, чем сказав, что я кого-то напоминаю; и точно так же к каждому я стараюсь отнестись так, будто он издан в единственном экземпляре. Горькая правда, однако, состоит в том, что мне уже давно все напоминают всех — печальное следствие привычки к замкнутой среде, к “своему кругу”. В Израиле эта психологическая перенасыщенность странным образом распространилась на уличную толпу, на первого встречного, знакомого и незнакомого.

Израиль — страна архетипов: двойники моих школьных подруг, оставленных друзей и забытых родственников разгуливают здесь в ошеломляющем изобилии, не подозревая о своих давних со мной связях. Я склонна расценивать эти сходства как попытку спровоцировать мышление на очередную аналогию — из тех, на которые так щедр Израиль и для которых на самом деле нет никаких оснований. Мышление по аналогиям и переживание, компенсирующее себя суррогатом, воспитаны в нас прежней культурой.

Израиль разбивает их с силой, прямо пропорциональной его же магической способности создавать миражные сходства.

Бывшие питерцы (ныне — иерусалимцы), с удивлением обнаружившие в себе любовь к Иерусалиму (конечно, “странную”), обычно оправдывают ее тем, что Иерусалим “напоминает Ленинград” (простите: Петербург). Длинным иерусалимским днем гуляю с подругой вдоль улиц, которые только названиями отличаются друг от друга. “Я всю жизнь прожила среди камней... — говорит подруга, осторожно (обжигает!) поглаживая каменные стены домов, каменные ограды, расступающиеся в угоду нетерпеливому любопытству глициний, плюща или винограда, каменные скамьи, на которые невозможно присесть, и просто толпящиеся всюду камни... — Я всю жизнь прожила среди камней”, — говорит она и тут же испуганно отдергивает руку: светлая ящерица с точеной головкой выскользывает из-под ее ладони и растворяется в камнях...

... Петербургские камни — компенсация за болото, на котором они воздвигнуты. Да и не камни это, а цитаты в камне, цитаты из европейской культуры, римские копии эллинских мраморов, снятые романо-германскими мастерами и подмастерьями. Петербургские камни хочется взять в кавычки, как популярные афоризмы или классические строчки в рукописи неизвестного автора, имитирующего острый приступ гениальности и выдающего их за свои.

Это побледневшее от двухвекового холода олимпийское племя, разбросанное по геометрической плоскости города, эта итальянская бронза и медь, покрытые зеленой плесенью, эти античные портики и позднеэллинистические коллонады, оторопевшие от близкого соседства с позднекупеческим барокко, связаны с хлюпающим небом, чухонской зеленью и хмурыми лицами, как французские словечки с русской речью в монологах Верховенского-старшего: “Je suis un опустившийся человек”.

... Не помню, рассказывала ли я Вам, что неприязнь к музеям, которая так мешала нашей дружбе, осталась у меня после первого посещения Эрмитажа.

Я готовилась к нему, как обычно готовилась к театру. На чудо искусства я хотела ответить чудом собственного преображения: самое лучшее платье, самые лучшие туфли и самое лучшее лицо из всех, какие имелись в моем гардеробе.

Эрмитаж, как и театр, начался с очереди. На ней же сходство и закончилось. Путь к вешалке пролегал через черный ход и подвал, как будто недостаточно многочасового стояния и тоскливого страха, что не хватит билетов или закроют на переучет именно то искусство, ради которого я тут мерзну (тогда это был импрессионизм).

Оказалось — недостаточно... Когда я, вместе с сотнями других граждан, примостившись на низенькой скамье и красная от натуги и стыда, пыталась примирить выданные в гардеробе чудовищные грязно-белые лапти с моими западногерманскими каблучками-“шпильками”, и, обматывая вокруг щиколотки обгрызанные тесемки, рвала нейлон, — я чувствовала эти лапти не на своих ногах, а на своих щеках: как разлапистую ленивую пощечину, подлую своей безнаказанностью.

Все остальное уже не имело значения. Марсообразные культуры древнего Востока, цветущие греки и упадочные римляне, раннее и позднее средневековье, двусмысленный Ренессанс и простодушные голландцы, пуантилисты и фовисты, зеркала и паркеты — все с одинаково старательным равнодушием отражали мою фигуру, сочетающую лаптеобразные конечности (вообразите походку!) с узкой юбкой, и очередную культуру, воспроизводимую вместе со мной отражающими поверхностями.

В отношениях с эрмитажной культурой вы сразу обречены не на роль проигравшего, а на еще горшую — неучастника: не прикасаться! не садиться! не наследить! — как воры или лакейская родня, которой показывают господский дом в отсутствие хозяина. Потому и вход не с площади, не через парадный подъезд с атлантами, мрамором и позолотой (закрит на время хозяйской отлучки, стало быть — навсегда), а с набережной, через черный ход и кухню (то есть буфет).

“Дом без хозяина” остался от империи. Но от нее же осталось отношение к культуре как заморскому товару, который в местных условиях не производится, а если и производится, то с таким напряжением и такими затратами, что производственный процесс приравнивается к жизненному.

И еще — страх, что товар попортят, и отношение к посетителю даже не как к господской челяди, а как к деревенской лапотной черни, — с заменой соломенных лаптей на матерчатые.

До сих пор в России образ культуры неотделим от образа господского дома. Не культура — “дом культуры” (еще лучше —

“дворец”), будь то Эрмитаж, библиотека им. Ленина (бывший дом Пашкова) или концертный зал имени Чайковского.

Сразу за дверьми дома — снег, распутица, бесформица, нелепица, болото... Петербург — город музеев, город-музей, город-дом и потому, конечно, — символ культуры в России.

Я понимаю, почему питерцы так любили свой город: они, единственные в России, жили в трехмерной цитате, все остальные — в двухмерной, в плоскости книжного листа.

Кто сказал, что “пробиться друг к другу никому не дано”? В России достаточно одному произнести эту строку, а другому — подхватить ее, чтобы тепло взаимопонимания одолело любую вьюгу, любой холод одиночества. Потому что, как справедливо сказал Мандельштам, “цитата — это цикада”. Она живая.

Под моим окном цикады стрекочут, не переставая. Я могу поиграть в обратимость сравнения и сказать, что “цикада — это цитата”. Я только не знаю — из какого текста, из какой книги? Как не знаю этого про иерусалимские камни, про небо и хамсин, про всю здешнюю жизнь, через которую не могу пробиться ни по одной строке, ни по одной строфе, ни по одному абзацу.

Из этой бессловесности не ностальгию, а глубокую зависть я испытываю к безопасной красоте Петербурга, не каменной — цитатной мощью защищенному от всех стихий. Я готова разделить Вашу любовь к вещам и музеям, но у израильских музеев так же мало общего с тем, что Вы привыкли называть этим словом, как у щербатых иерусалимских камней — с петербургским гранитом.

Не надо сравнивать. В Ленинграде — Эрмитаж, в Париже — Лувр, в Иерусалиме — Яд-Вашем*.

П. С. Меня удивил Ваш вопрос: что с собой брать? Насколько я помню, у Вас никогда ничего не было.

* Музей Катастрофы европейского еврейства (прим. ред.).

М. Казанская — литературовед и эссеист, автор книг о Чехове и Мандельштаме и многочисленных эссе, опубликованных в журналах “22”, “Синтаксис”, “Время и мы”, “Сион”, “Перекрестки” (на англ. яз.), в Израиле с 1976 г., живет в Иерусалиме. Публикуемая статья — первое из цикла “Писем в Россию”, которое вместе с другими эссе (“Еврейские сны”, “Понтий Пилат”, “Проза из романа”) войдут в подготавливаемую к печати книгу “Смерть в Иерусалиме”.

В редакцию журнала "22"

Опубликованная в № 8 мерзость Л. Гиршовича – вне литературы и, конечно, враждебна элементарным нормам еврейской жизни и морали. По тем же причинам считаю ненужной публикацию возни "Вокруг Эдички". Стиль выпуска журнала и ряд публикаций № 8 абсолютно неприемлемы для меня. Все это заставляет меня уйти из журнала вообще, а не только выйти из состава его редколлегии. Возвращаю полученный мною № 8 и прошу опубликовать это мое письмо.
И. Гольденберг

Александр Воронель

БИБЛЕЙСКИЙ РЕАЛИЗМ И НАШЕ ХАНЖЕСТВО

(ответ И. Гольденбергу)

"И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был негоден пред очами Господа, и умертвил его Господь". (А в агаде уточняется, что, когда лежал он с Фамарью, у него кровь горлом пошла.) "И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего... и восстанови семя брату твоему". "Онан знал, что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю... Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его... И сказал Иуда Фамари: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой". А сам подумал: "Может быть, умрет от нее и этот?"... Так подумал он про злоебучую эту моавитянку... Но прошло время и собрался он в Тимну стричь овец. И узнала об этом Фамарь, невестка его... "И сняла она с себя вдовью одежду свою, покрыла себя покрывалом и села у входа в Энаим, что на дороге в Тимну... И увидел ее Иуда, и почел за блудницу. И поворотил он к ней и сказал: войду я к тебе..." (А агада добавляет: "Ибо был Иуда весьма похотлив".)

Мы все знаем, что эта история хорошо кончилась, ибо Фамарь понесла, и все мы (ибо

мы потомки в основном именно Иуды и преимущественно от Фамари, благослови ее Господь) оказались упрямы в желаниях наших, неотступны в домогательствах и семьяобильны в любовных трудах. Похотливы потомки Иудины, как патриарх наш, и чадолюбивы, как он. Неуклонны мы, как наша праматерь, и нелегки для слабосильного, как она.

Для чего пересказал я столь близко к тексту эту библейскую историю? Производит ли она на современного читателя впечатление незамутненной святости? Не кажется ли нашему читателю, что она, пожалуй, грубовата? Вот это, именно, я и хотел бы подчеркнуть.

Я читаю это с глубоким чувством подлинности жизни, которая живописуется точно и грубо, без слюней. И сравниваю с нашей изящной словесностью. Наш патриарх назван был в агаде похотливым, потому что он был похотлив, а не любвеобилен, как сказал бы благочестивый современник. Наш патриарх не отдал Фамари своего младшего сына, потому что подумал: "Забет она моего мальчика", а не потому, что он забыл и упустил это сделать, как силился бы объяснить наш благопристойный современник. Онан проливал свое семя на землю не в переносном, как хотелось бы блюстителю благопристойности, а в самом прямом смысле... Что бы мы ни говорили о себе — и те, что клянутся еврейской культурой, и те, что признают свое русское прошлое, — мы за долгие века впитали в себя христианское отношение к сексу, и это проявляется и в нашей застенчивости, и в нашем бесстыдстве. Талмуд, в отличие от соответствующих христианских книг, свободно обсуждает возникающие сексуальные проблемы, но и Талмуд делает это в отношении проблем того времени, то есть приблизительно 1,5 тысячи лет назад. По сравнению с приведенной историей это почти современность, но все же... Все же я хочу спросить читателя, будем ли мы притворяться, что за прошедшие полторы тысячи лет ничего не изменилось, или дадим нашему читателю (и писателю) писать о возникающих у него в душе проблемах так, как он способен их выразить, даже если это и кажется неприличным людям, не привыкшим смотреть правде в глаза. Я решительно за ту грубую порой натуралистичность, с которой наши предки обсуждали свои интимные дела. Я думаю, что эта откровенность способствовала их душевному и телесному здоровью.

И сейчас, держа перед собой письмо И. Гольденберга, кото-

рый вдруг обвиняет нас в нарушении еврейской этики, потому что мы печатаем Л. Гиршовича, или даже потому, что осмеливаемся хотя бы ругать Э. Лимонова (его и упоминать, наверное, нельзя), я стараюсь понять, что могло вызвать такой гнев. И я не обманываю себя, что это, дескать, только И. Гольденберг такой непонятливый. Я знаю, что немало читателей возмущено той откровенной манерой, которая принята нами при обсуждении многих проблем – и отнюдь не только секса.

Прежде всего уточним: ни И. Гольденберг, ни многие другие наши читатели всерьез вовсе не думают, что мы получаем удовольствие от грязных сцен, описанных в нашем журнале, или наслаждаемся возможностью сказать неприличное слово на людях. Но они хотят освободить себя от этих неприятных впечатлений и тем как бы сказать себе: "Все в порядке! Мир все еще держится на порядочности и достоинстве. Это там где-то выродок Лимонов бушует, а мы по-прежнему цивилизованные люди, и у нас общество цивилизованных людей, а не бардак какой-то!"

Я глубоко солидарен с ними в этом чувстве и мечтаю до самой смерти сохранить то, что многие давно уже не называют иначе, чем наивностью. Но я хочу, чтобы это произошло не потому, что я не знаю (или не хочу знать), что происходит вокруг меня (и во мне), а потому, что я нашел в себе силы противостоять этому разложению и сумел защитить от него своих детей. Отец не сможет защитить сына от того, чего отец не будет знать или запретит сыну обсуждать с ним. Он может противостоять лишь тому, что понимает и знает сам. И, в крайнем случае, сам пойдет и сделает то, что любимому сыну Шеле, может быть, бы жизни стоило, а может быть, как-нибудь иначе распорядится...

Мир вокруг нас сошел с ума, и мы не сможем его исправить ни своими нравоучениями, ни тем, что в своем узком кругу не будем признавать общеизвестное или называть его по-старинному. Мы должны искать свой путь, и этот путь должен исходить из нашей физиологической и культурной потребности, а не из обломков приличий, подхваченных где-то между Россией и Америкой.

Между словесной сексуальной распущенностью Л. Гиршовича и подлинной распущенностью Э. Лимонова лежит непроходимая пропасть, в которую я каждому рекомендую заглянуть. Герой рассказа Л. Гиршовича "О теле и духе" – человек, пытающийся преодолеть свою реальную (скажем, физиологическую) слабость

высочайшим напряжением всех своих умственных сил. Он хочет перехитрить природу и, жалко оскальзываясь и видя все яснее и яснее жуткую правду своей несостоятельности перед лицом наглюющей действительности (его жена оказывается куда искуснее, чем он мог даже помыслить), предпочитает умереть, чем с этим знанием примириться. Я назвал бы это произведение высоко нравственным, хотя это оказалось бы в прямом противоречии с намерением автора, пытавшегося всячески снизить это несовременное впечатление от его рассказа. Совсем другое дело — роман Э. Лимонова “Это я — Эдичка”. Жена покинула его, чтобы блядством пробиться в люди, и он глубоко страдает. Но он страдает не оттого, что его жена блядь, а потому, что она не берет его в компанию на этом славном пути. Уж он бы расстарался! Они бы вместе такие коники понапридумывали! А она не хочет. Просто хочет оставить его в дерьме. Это трагедия дружбы. Чужое семя на ее трусиках его и не задевает вовсе. Семя тут вообще ни при чем. Вот он очень смачно описал, как он излил свое семя в песок, лежа под негром (вспомните, чем Онан провинился), и ему легче стало. Он нашел друга и повеселел. (А герой Гиршовича встретил любовника жены — ему бы обрадоваться, теперь она еще веселей и поинтереснее в постели будет! А он, поди ж ты, стреляться...) Тут мы встречаемся с абсолютной безнравственностью, положенной в основу психологии Э. Лимонова, и можем проследить, откуда это берется.

Христианская культурная традиция (не только русская, но русская особенно) приучает человека, что секс сам по себе если не полностью постыден, то во всяком случае принадлежит к низшим проявлениям жизни, как таковой является грехом и может быть введен в культурный обиход только в ходе облагороженных околосексуальных переживаний (в принципе не обязательно предполагающих нормальное совокупление). Предметом искусств, переживаний и размышлений в христианском обществе веками являлись дружеское общение и любовные интриги, разлуки и несчастная любовь, танцы и живопись, подчеркивающая стыдливость, бледность черт и впалость щек, “шепот, робкое дыханье, трели соловья... мне стан твой понравился тонкий и весь твой задумчивый вид... как мимолетное виденье, как гений чистой красоты”. Естественно, что такое удаление от прямого объекта воздыханий рождало на другом полюсе также и прямой цинизм и порнографию, как необходимое дополнение. Так почти одно-

временно с расцветом "дев, соловьев и пустынных скал средь шумного бала" в русской литературе возник Н. Барков с его "Лукой Мудищевым", а Пушкин записал в своем дневнике об А. П. Керн: "Наконец-то, с Божьей помощью, выеб!" — и это совсем не противоречит ее характеристике, как "гения чистой красоты", и даже не снижает его чувства, но показывает глубокую раздвоенность культуры, в которой реальные жизненные вещи, оказывается, невозможно выразить иначе, как в пренебрежительном тоне. А он, может, это в восторге записал! Что же было написать? "Наконец-то, с Божьей помощью, воспарил с гением чистой красоты на крыльях любви.."?! (Кстати, так же обстоит в русской культуре дело с денежными вопросами и вообще с материальными вещами, так что на русской почве необыкновенно возвышенные натуры порой оказываются неожиданно для многих нечистоплотными в материальных делах — Н. Некрасов, Ф. Достоевский, — ибо они вообще не видят, как в таких низменных, грязных делах можно быть чистоплотным.)

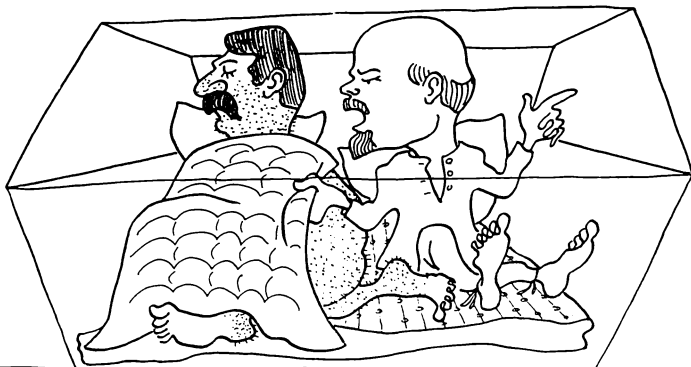
Теперь, когда эта классическая культура и на Западе, и в России терпит ущерб, разрушается не столько отношение к самому главному (сексу, как греху), сколько социальное отношение ко второстепенному (необходимости этот грех маскировать). Более того, так как веками воспитывалось отношение к околосексуальным играм, как более значимым элементам жизни, чем собственно плодоносящее совокупление, постепенно "выяснилось", что любовь импотентов, лесбиянок, педерастов и т. п. даже "выше" обыкновенной банальной любви, которая, в конце концов, не более, чем пережиток библейских времен. Лесбиянки гораздо тоньше понимают друг друга, педерасты меньше капризничают и более эстетичны, импотенты самоотверженно любят (см. Э. Хемингуэй "Фиеста") и т. д.

Среди этого всеобщего разрушения действительно разумно и даже спасительно вспомнить другое отношение к основным жизненным ценностям, которое запечатлено в Пятикнижии, но, к сожалению, не полностью запечатлелось в сердцах народа Книги. Секс (а также имущество, наследство, семья) не должен и не может быть предметом игры вообще. Это не грех, но тут нет легкости, потому что это связано. Вся околосексуальная мишура может существовать или нет, но сама любовь (не воздыхания, а совокупление) есть вещь не только же серьезная, как и смерть, и так же связана с жизнью. При таком раскладе ни онанизм, ни

гомосексуализм во всех их формах никак не могут быть рассматриваемы всерьез, ибо остаются всего лишь формами баловства, как и карточная игра не может рассматриваться всерьез как форма экономической деятельности. Поэтому, например, "Синдром Портного" Ф. Рота не является в еврейском смысле безнравственной книгой, ибо речь в нем идет не об онанизме, а о растерянности человека, который серьезно относится к сексу, в мире, который этой серьезности не принимает. И все метания его героя являются, по сути, лишь закономерными формами поведения еврея во взбесившемся мире, который все время сбивает его с толку.

Мы, вырвавшиеся из одной большой цивилизации (России) и не вошедшие в другую (западную), находимся в уникальной ситуации. Еврейская культура, еврейский образ жизни, еврейское отношение к основным ценностям еще существуют, как отличие от окружающего мира, но уже грозят закоснеть, как одна из форм существующей циничной действительности. Если мы будем игнорировать окружающий мир и его манеры, мы не выживем в этом мире. Если мы просто усвоим окружающий мир и его манеры, мы растворимся. Мы существуем только до тех пор, пока, **все зная и понимая**, смотрим на это по-своему. Хватит ли сил? Бог весть... Я думаю, что у наших "поборников нравственности" этих сил уже не хватает, не случайно они хотят спрятать голову. Это и есть причина наших с ними расхождений.

А. Воронель (р. 1931) — физик, профессор Тель-Авивского университета, в СССР — активный деятель еврейского национального движения, основатель журнала "Евреи в СССР" и семинара ученых-отказников, в Израиле с 1974 г., автор многочисленных статей и эссе в западной и израильской печати, а также книги "Трепет забот иудейских".



Ленин: Я напишу в ЦК, что ты груб, нетерпим, высокомерен и забрал слишком большую власть ...

А. Зиновьев

Александр Зиновьев. "В мавзолее после смерти Сталина".

РУССКИЙ ВОПРОС

Оценка личности Сталина немыслима без оценки эпохи, неразрывно связанной с его именем, — эпохи сталинизма. Что такое Сталин без сталинизма? Человечек невысокого роста. Недоучившийся малограмотный семинарист. Рябой. С грузинским акцентом. Был коварен, мстителен и жесток. Своими пальцами оставлял жирные пятна на страницах книг... А не слишком ли это жидко для характеристики человека, владевшего и до сих пор еще владеющего умами и сердцами миллионов людей?! После урагана разоблачений ужасов сталинского перио-

Александр Зиновьев

О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

(к столетию со дня рождения)

да, который (ураган) начался со знаменитого доклада Хрущева и достиг апогея с появлением "Архипелага ГУЛАГа" Солженицына, прочно утвердилось представление о сталинском периоде исключительно как о периоде злодейства, как о черном провале в ходе истории, а о самом Сталине — как о самом злодейском злодее из всех злодеев в человеческой истории. В результате теперь в качестве истины принимается лишь разоблачение язв сталинизма и дефектов его вдохновителя. Попытки же более или менее объективно высказаться об этом периоде и о личности Сталина расцениваются как апологетика сталинизма... И все же я рискну отступить от разоблачительно-критической линии и высказаться в защиту... нет, не Сталина и сталинизма, а лишь возможности объективного понимания их. Время эмоций на эту тему прошло. Настало время не только обличать злодейство, но подумать об его исторической сущности и истоках. Выросло ли это злодейство из темных душ кучки злоумышленников как некое отступление от благопристойных норм человеческой истории или оно явило человечеству поучительный пример того, что на самом деле с необходимостью получается, когда самые светлые идеалы и мечты человечества воплощаются в жизнь, — вот в чем вопрос.

Кроме того, мне кажется, что я имею и моральное право на такой риск. Я с юности не питал никаких симпатий к Сталину и сталинизму. Еще в 1939 году я открыто выступил против культа Сталина, за что был исключен из комсомола и из института, направлен в психиатрический диспансер для обследования, а затем доставлен на Лубянку. В диспансере меня признали психически здоровым, чего не сделали бы в либеральные послесталинские времена. А из лап органов государственной безопасности мне удалось ускользнуть. И вплоть до хрущевского доклада моим тайным призванием была антисталинистская пропаганда. Должен признать, что я не был единственным в своем роде. В хрущевские годы дело критики сталинизма взяли в свои руки сами бывшие заядлые сталинисты, и мой антисталинизм утратил смысл. И я обрел способность отнестись к нему спокойно, т. е. не с ненавистью, а с презрением.

А моя мать до самой смерти (она умерла в 1969 г.) хранила в Евангелии портрет Сталина. Она пережила все ужасы коллективизации, войны и послевоенных лет. Если бы в деталях описать, что ей пришлось вынести, западный читатель не поверил

бы. И все-таки она хранила портрет Сталина. Почему? В ответе на этот вопрос лежит ключ к пониманию сущности сталинизма.

Дело в том, что, несмотря на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это было народовластие в самом глубоком (не скажу, что в хорошем) смысле слова, а сам Сталин был подлинно народным вождем. Народовластие — это не обязательно хорошо. Зверства сталинизма были характерным выражением народовластия в тот период. И этому ничуть не противоречит то, что одновременно это было и насилием над самим народом. Народный вождь — это не обязательно мудрый и добрый человек. Иногда народные вожди бывают отпетыми мерзавцами. А иногда сами они глубоко презирают народ, ибо знают, что такое народные массы в реальности, а не в книжках и в доктринах. Именно Сталин, а не Ленин, был народным вождем, ибо у Ленина тех гнусных качеств, какие приписываются Сталину, было недостаточно, чтобы стать народным вождем.

Чтобы ответить на вопрос о сущности сталинизма, надо установить, чьи интересы выражал Сталин, кто за ним шел. Почему моя мать хранила портрет Сталина? Она была крестьянка. До коллективизации наша семья жила неплохо, но какой ценой это доставалось?! Тяжкий труд с рассвета до заката. А какие перспективы были у ее детей (она родила одиннадцать детей!)? Стать крестьянами, в лучшем случае — мастеровыми. Началась коллективизация. Разорение деревни. Бегство людей в города. А результат этого? В нашей семье один человек стал профессором, другой — директором завода, третий — полковником, трое стали инженерами. И нечто подобное происходило в миллионах других семей. Я не хочу здесь употреблять оценочные выражения “плохо” и “хорошо”. Я хочу лишь сказать, что в эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъем многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, ученые, писатели и т. п. Не играет роли проблема, могло бы или нет нечто подобное произойти в России без сталинизма. Для участников процесса это фактически происходило во время сталинизма и, казалось, благодаря ему. И на самом деле, во многом благодаря ему. Вот эти миллионы людей, вовлекавшие в сферу своих переживаний миллионы других, и явились опорой и ударной силой сталинизма. Конечно, не только реальные успехи людей, но и иллюзии играли тут роль. Но иллюзии не насчет марксистских сказок (в них верили мало),

а насчет очень простых вещей: улучшения бытовых условий и душевных отношений между людьми. Для меня и многих моих сверстников отдельная койка с чистыми простынями и трехразовое регулярное питание казались пределом мечтаний. Хотя многие из нас не верили в марксистские сказки и понимали суть реального коммунизма, но и у нас были надежды на эту отдельную койку и сытный обед. Эти надежды пересиливали наше негативное отношение к нарождающемуся обществу. Хотели мы этого или нет, они связывались с именем Сталина. При оценке личности надо учитывать не только ее субъективные качества, но и то, как она отображается в сознании окружающих. А Сталин в сознании окружающих отображался не только и не столько как мерзавец, сколько как символ этого великого процесса. Это была серьезная история, а не просто насилие кучки жестоких злоумышленников над добрым и обманутым народом. Народ обманут не был. Не забывайте, что в самих массовых репрессиях сталинских времен, в которых пострадали миллионы простых людей, принимали активное участие миллионы других простых людей. Причем, одни и те же люди часто играли роль палачей и жертв. Эти репрессии тоже были проявлением самодеятельности широких масс населения. И теперь трудно выяснить, чья доля в них больше — доля высших злоумышленников во главе со Сталиным или доля этих широких якобы обманутых масс населения. Чтобы покончить с этой темой, выскажу еще одну еретическую мысль. Жертвы сталинизма — это лишь половина правды о нем. Есть другая половина, а именно та, что жертвы были помощниками и соучастниками своих палачей. Жертвы были адекватны породившей их эпохе. Ужас эпохи становления коммунизма состоит не столько в факте жертв, сколько в том, что получает преимущества, отбирается и выживает тип человека, готового пойти на жертвы и сделать своими жертвами других людей. Сталин был ярчайшим выразителем этой психологической революции. Мне кажется, что сталинские репрессии принесли Сталину больше божественного почитания, чем его неуклонная политика ежегодного копеечного снижения цен на продукты питания.

Сталин был преемником Ленина, а сталинизм — преемником ленинизма. Есть различные мнения о их взаимоотношениях. Одни говорят, что Сталин был верным учеником и продолжателем дела Ленина. Другие говорят, что Сталин был изменой делу Ленина. Думаю, что те и другие по-своему правы. Но тут есть иной разрез понимания, который более существен для оценки Сталина и стали-

низма. Я различаю две струи в том потоке жизни, который пронесся в Советском Союзе в результате революции, а именно: струю конкретно-историческую и струю общесоциологическую. В первой из них люди влезали на броневики, размахивали маузерами, захватывали телефонные станции, ставили к стенке, носились с шашкой наголо и с криками ура... Это было на виду. В другой струе в это время тихо и незаметно зрело новое дитя — будущее коммунистическое общество. Оно зрело самым прозаическим образом: создавались бесчисленные конторы и должности, рос и дифференцировался аппарат власти, запуская свои щупальца во все клеточки общества, присваивались чины, распределялись жизненные блага... Когда лавина драматической истории унеслась в прошлое и поднятая ею пыль осела, стало ясно, ради чего на самом деле произносились речи, сверкали клинки, гремели крики ура. Реальное новое общество с его дотошной системой власти и управления уже родилось и выдвинуло на арену истории своих подлинных деятелей. Так вот, Ленин и его гвардия представляли первую струю процесса, а Сталин со своими сообщниками — вторую. Почему-то, говоря о Ленине, считают уместным слово "гвардия", а говоря о Сталине, употребляют слово "сообщники". С именем Ленина связан лишь предреволюционный период истории партии и период физического выживания страны с младенцем нового общества во чреве. С именем Сталина связано становление нового общества, превращение слабого зародыша в могучее зрелое существо. Могучее, подчеркиваю, — не обязательно хорошее. Крокодил, как известно, силен, но приятности в нем мало, если не считать того, что его шкура годится на дамские сумочки. Ленин есть предыстория реального коммунизма. Реальная же, собственная история коммунизма начинается со Сталина. Именно этим, а не отрицательными личными качествами, объясняется победа Сталина и его сообщников (не гвардии, конечно) над Троцким, Зиновьевым, Бухариным и прочими болтунами из ленинской гвардии (само собой разумеется). Дело тут не в уме одних (Сталин, говорят, был куда глупее Троцкого) и в глупости других (Троцкий, говорят, был куда умнее Сталина). Дело в стечении обстоятельств. Дело в том, какие социальные силы выходили на арену истории и захватывали инициативу в миллионах клеточек жизни гигантского общества. Сталинизм, а не ленинизм есть наиболее полное проявление сути коммунизма. Ленинизм есть лишь подготовка к сталинизму, есть лишь зародыш его, а еще точнее — лишь место, в котором

зрел зародыш. И его постигла участь, какую он и заслужил исторически. Между прочим мне недавно довелось перечитать некоторые сочинения упомянутых выше противников Сталина. Я не заметил абсолютно никаких интеллектуальных преимуществ их перед Сталиным. Я не хочу этим сказать, что Сталин был умен. Я хочу этим сказать лишь то, что его противники не были умнее его.

Раз уж речь зашла об уме, самое время сказать несколько слов о Сталине как теоретике. Общеизвестно, что Сталин якобы вульгаризировал марксизм. Но поставьте такой вопрос: что нового внесли советские философы в марксизм после смерти Сталина, если отбросить их безудержное словоблудие и всяческие пустячки? Попробуйте беспристрастно ответить на этот вопрос, и у вас, может быть, зародится сомнение в уместности тут слова "вульгаризация". Конечно, тут имела место какая-то вульгаризация отдельных мыслей основоположников марксизма. Но только ли это? И вульгаризация ли это на самом деле? О вульгаризации можно говорить, если первоисточники представляют собою вершины (или глубины?) премудрости. Но если рассмотреть эти первоисточники доскональным образом с точки зрения строгих научных критериев, то обнаружится, что и вульгаризировать-то нечего было. Было что очищать от словесной шелухи. Было кое-что, чему можно было придать удобоваримый вид, пересказав нормальным человеческим языком. Но вульгаризировать?!.. Я не знаю, был ли Сталин сам автором приписываемых ему сочинений. Но одно я знаю определенно: сочинения Сталина и явились той живой мышью, которую родила гора марксизма. Из последней для нужд великой идеологической революции, происходившей в стране, просто нельзя было выжать больше. А в качестве идеологических текстов, рассчитанных на миллионные массы населения с очень низким культурным уровнем, сталинские сочинения были наилучшими из всего того, что было написано в марксизме. Приписываемая Сталину работа "О диалектическом и историческом материализме" на самом деле явилась вершиной марксизма как идеологии. Фактически до сих пор в Советском Союзе в основе всей идеологической работы так или иначе лежат результаты идеологической революции, осуществленной по крайней мере именем Сталина. Если хотите постичь самое глубинное содержание марксистского учения, прочитайте сочинения Сталина. Это нелепая иллюзия, будто в марксизме еще остались некие интеллектуальные высоты и тонкости, замолчанные или искаженные вульгариза-

торами; будто существует некий истинный марксизм, не имеющий ничего общего с мрачными явлениями его в качестве государственной идеологии коммунистического общества. Конечно, в сочинениях основателей марксизма есть кое-что, что может быть истолковано как явление высокой духовной культуры. Но это "кое-что" не есть специфический продукт марксизма. Это заимствовано у предшественников и современников главным образом — в форме их погромов. Кстати сказать, погромы своим противникам, которые учиняли Маркс, Энгельс и Ленин в своих сочинениях, послужили своеобразной подготовкой для сталинских погромов в реальном коммунистическом обществе, победившем под идеологическим знаменем марксизма. Сталин был самым подлинным и верным марксистом. Когда ему отводят роль дьявола в сонме ангелов марксизма, то тем самым не очищают некий светлый марксизм от черных пятен сталинизма, а лишь стремятся спрятать подлинную суть марксизма, с поразительной полнотой и ясностью раскрытую Сталиным и его соратниками.

В сталинский период сложились все органы тела коммунизма и четко определились их функции, были выработаны все ритуалы и образцы поведения. После смерти Сталина произошли, конечно, некоторые изменения. Хрущев, например, ударился в несвойственную Сталину ужасающую болтливость и начал мотаться по белу свету. Но образ Сталина все равно довлел над его сознанием. Брежнев претендует на роль второго Ильича. По болтливости и по склонности к путешествиям он превзошел Хрущева, хотя по ораторским данным ему более подошел бы сталинский вариант. Но не требуется быть специалистом по психоанализу, чтобы заметить, что образ Сталина смолоду овладел душой Брежнева. Конечно, Хрущев пошел на разоблачение ужасов сталинизма, а Брежнев не отваживается на массовые репрессии даже против диссидентов, неслыханных в сталинские времена. Но есть ли это их личные качества? Антисталинистские настроения появились в стране и в партии задолго до хрущевского доклада. Последний в большей мере был итогом предшествующей истории, чем началом новой. Он был вехой в новой истории, а не движущей причиной. Движущие причины остались скрытыми. О них не хотят говорить даже диссиденты. Брежневский же "либерализм" тоже не есть личная его черта. Это — прочное завоевание господствующих слоев советского общества, которые лишь после смерти Сталина (т. е.

с окончанием сталинского периода) почувствовали себя в безопасности.

В Советском Союзе официально считается, что в сталинские времена нарушались нормы партийно-государственной жизни, но что теперь с этим покончено. По этому поводу раздаются критические голоса. Ничего подобного! — вещают эти голоса. — Упомянутые нормы и теперь нарушаются! Эти голоса считают, что если в стране плохо, так значит нормы нарушаются. Но как официальная точка зрения, так и ее критика в данном случае лишены смысла. В настоящее время в стране плохо не вследствие нарушения норм партийно-государственной жизни, а вследствие их строжайшего соблюдения. Дело не в том, соблюдаются или нет нормы, а в том, что из себя представляют сами эти нормы. А эпоха сталинизма была эпохой изобретения и утверждения этих норм. Дело обстояло не так, будто уже были некие нормы, когда пришел Сталин со своей бандой и начал нарушать их. Когда пришел Сталин, никаких таких норм еще не было. Они рождались и утверждались в том страшном процессе, который лишь впоследствии был истолкован как их нарушение. Нельзя было нарушить то, чего еще не было. Просто процесс становления общества имеет свои нормы, в соответствии с которыми вырабатываются нормы ставшего общества. Весь сталинский период проходил в точном соответствии с первыми.

Сейчас многие боятся поворота страны к сталинизму и связывают это с предстоящей реабилитацией Сталина. Страхи напрасны. Если реабилитация и произойдет, она будет половинчатой. Современные вожди коммунизма, как говорится, сами с усами, сами не прочь попасть в гении всех времен и народов. И им совсем ни к чему воскрешать конкурентов из страшного прошлого. А широкие массы населения сейчас уже лишены той власти над ближними, какую они обладали в сталинские времена. Эпоха буйного народовластия, к счастью, кончилась. А без самодеятельности массы населения никакой сталинизм невозможен. Я не хочу этим сказать, что в Советском Союзе не будет происходить ухудшение жизни. Наоборот, такое ухудшение очень даже возможно. Но не всякое ухудшение есть возврат назад. Оно возможно и на пути неудержимого движения советского общества вперед к светлым идеалам коммунизма. Та мразь, в которую устремляется советский народ, будет новым творческим вкладом в славную историю коммунизма.

В характеристику личности входит все, так или иначе связанное

с нею. Слухи, сплетни, легенды. Даже анекдоты. Обратите внимание на такой факт: о Ленине сложилась целая серия анекдотов, в которой Ленин выглядит комически. Анекдотов и о Сталине было много. Но в них он никогда не выглядит смешным. Сталин — фигура для насмешек почему-то неподходящая. Хрущев комичен. Брежнев комичен. А Сталин — нет. Вроде бы и бояться его теперь нечего: смейся, сколько хочешь! А не получается. Ходит слух, будто Сталина убили. Я в этот слух не верю. Скорее всего Сталин умер, а его соратники просто боялись войти к нему мертвому. Они были жалкими трусливыми ничтожествами и негодьями. А сам он был среди них негодяем и ничтожеством выдающимся. Но он стремился построить коммунистический рай на земле и сделать всех людей подходящими для этого. А если из его замыслов выросла ужасающая мерзость, так это — шуточки неподконтрольной истории, а не продукт преднамеренного умысла негодяя. Негодяйство вполне уживается со светлыми идеалами. Если последние хорошо оплачиваются, они даже светлее становятся. Сталин и его приспешники (не гвардия, конечно) были негодьями, но негодяйство их было особого рода: оно есть социальное негодяйство. Оно прет само изо всех пор советского общества. Оно производится самим нормальным ходом жизни. Оно есть закономерный продукт светлых идеалов. Короче говоря, Сталин был адекватен породившему его историческому процессу. Не он породил этот процесс, но он наложил на него свою печать, дав ему свое имя и свою психологию. В этом была его сила и его величие. Не исключено, что молодежь еще будет когда-нибудь тосковать по сталинским временам. Народ (тот самый якобы обманутый и изнасилованный) уже тоскует и встречает упоминание его имени аплодисментами. Но нынешние руководители страны и господствующие классы вряд ли допустят появление нового Сталина — новую угрозу их благополучию и безопасности.

Мюнхен, 22 октября 1979 г.

А. Зиновьев (р. 1922) — философ и логик, профессор, автор многочисленных работ по логике и методологии науки, в результате систематических репрессий властей эмигрировал на Запад, живет и работает в Мюнхене; на Западе опубликованы его книги "Зияющие высоты", "Светлое будущее", "Записки ночного сторожа" и "В преддверии рая", а также ряд статей в ведущих зарубежных журналах.

Странно — живем, живем и никакого понятия о предмете, как вдруг с нами заговаривают о профессоре Льве Николаевиче Гумилеве, и сразу, куда бы мы ни попали, везде речь о Хазарии, двенадцати коленах, астраханской холере и о нем, о Гумилеве, а мы еще с трудом отличаем сына от отца, — стыдно и деваться некуда. И что-то явно бросает к каталогам, и уже мы желаем непременно, чтобы услышать гумилевские лекции на географическом факультете, как вдруг опять говорят: “Нету, вышел весь”. Что такое? “Что ж, — говорят, — ему последнее время всего и оставили, что несчастный спецкурс, лекций уж у него давно не было. А нынче и спецкурс оттяпали”. Спрашиваем: “Где сидит-то?” “Сидит-то, — говорят, — дома. За вторым разом по той же Владимирке — вроде как неудобно. Да особо и не за что: всю дорогу — и до, и после — по-тихому выступал”. “Как это, как это, — говорим, — а выступление в Союзе писателей?” “Да, — говорят, — да, конечно, однако, как странно, что глас вопиющего в пустыни, такой неожиданный глас, одинокий и до небес, даже их пронимает, так что из университета не сразу гонят”.

Юрий М. Меклер

НАША ЖИВУЧЕСТЬ

И вправду, вначале, а можно сказать — в конце концов было

выступление в Доме писателей имени В. Маяковского на улице Войнова. Хорошее место, досюда недалеко: Большой Дом просто напротив, в речку можно прямо из окна. В ресторане Сережа честный кофе варит. Критики друг на дружке самоутверждаются: “Ежели произведение сделано, мне не ндра, а ежели оно от пупка — мне ндра”. Приятно послушать. Профессору Льву Николаевичу Гумилеву отвели под выступление поздний вечер, чтобы те, кто сидит со вчера, имели время вспомнить, что они не вообще старперы, а советские писатели; те, кто задержались с ночлегом и пришли только к открытию Дома, чтобы уже проиграла на бильярде весь будущий гонорар и были свободны от меркантильных инстинктов при восприятии профессора; те же, кто только что влетел, чтобы еще не успели налиться в хлам, не стучали сапогами по паркету, доказывая, что величайшее заблуждение всех времен и народов — считать актеров интеллигентными людьми, а также чтобы не озорничали в уборной.

Гумилеву везло с самого рождения, так и этим вечером в Мавританской гостиной Дома писателей заседала секция драматургов. “Не, мальчики, — говорил Даниил Аль, — на сей раз, что ни говори, заголилась роца молодая, — перекаламбурили”. Мальчики — на секции читали пьесу и обсуждались в ее связи местные ленинградские драматурги Рацер и Константинов — отвечали: “А мы что, мы по желанию трудящихся, как скажет барин — пролетариат, заказывай музыку, утерянные цепи можно отыскать и на уши повесить. “Перекаламбурили...” — вы тоже скажете, Даня, не с хорошей же жизни, образ требует. С образом тоже карамболь был. Наметали с Борей пяток произведений искусства, заходим напротив в Большой Дом, утверждать образа, — они там это любят: чтоб в завязке ненаписанной пьесы еще конь не валялся, а ты, как Павлик Морозов, уже б доложил, кто у тебя в кульминации в какую сторону ускакал. Предлагаемся образом, типаж “Железный Феликс”, “бьется в тесной печурке Лазо”, но, понятно, наших дней — не берут, говорят: еще каких-нибудь лет 40 назад с таким образом да за бухаринскую платформу мы бы вас... вы, спрашивают, в каком районе проживаете? — отвечаем: пока в Дзержинском, — говорят: вместе со всем Дзержинским — к стенке, брупш, оттаскивай. Но, говорят, не сцы, Маруся, я Дубровский. Не сцым, предлагаем дальше: типаж — снабженец, для родного завода блоху наизнанку через зад подкует. Говорят: покуда погуляйте маненько, но в другой раз, приходя с таким

снабженцем, не забудьте захватить пару чистого белья. Хотя, говорят, вы никак этого своего переноска будто уже всучали вроде? Тогда, говорят, вот что, в другой раз можете без образа с одним бельем приходить. Слово за слово, сами не заметили, как вшили им там данный осколок творчества. Ну, а уж тут на радостях, как в ведро, слили в него и Феликса, и снабженца, и все про все, настоящее на забаллотированных образах и коллективистских дрожжах. Разумеется, малость перекаламбурезилось”.

Считалось, что Рацер с Константиновым приходят получать деньги во Всероссийское Театральное Общество с чемоданом, но на секции драматургов на них никто за это не обижался. У председательствующего (в комиссарской кожанке) секретаря секции Игнатия Дворецкого у самого нашумевший его “Человек со стороны” в разгар победного марша шел в 55 театрах по сводкам на Российскую Федерацию. Дороги Рацер с Константиновым тоже никому не перебежали; специализации членов секции были устоявшимися и распределены по способностям: Игнатий Дворецкий — производственник, Даниил Аль — документалист-революционер, Александр Володин — бытовик с уклоном в эстетство, кстати, и “козел отпущения” по административной части, уже какой-либо совершенно непотребный Дмитриин — либреттист на скамейке запасных на случай внезапного воскрешения русского оперного искусства, чужих в секцию не пускали десятилетиями, так что обсуждение комедиантов Рацера с Константиновым происходило в теплой и дружественной обстановке. Собственно говоря, ничего такого с чтением и обсуждением не было. Просто собрались фронтовики-однопольчане, прошедшие по полжизни в писательских окопах на передовой, — тоже фронт, бывали и в окружении, теряя до девяти десятых наличного состава, приходилось и в плен идти, и за границу, и к себе в тыл, на сторону врага не раз и не два переходили, кто в разведку, кто за принципами, и в этот вечер не то, чтобы был лишний повод вместе выпить водки, но за окном свистала Нева, с неба сыпалось и лило, студенчество, гремя зубами о заиндевевшие башмаки, кралось на ветру на неофициальные семинары, родственники одалживали рубль в целях эмиграции, а они сидели в Мавританской гостиной и разговаривали между собой о неисповедимых тайнах драматургического и жизненного мастерства. И отнюдь не забывали, а напротив, не упускали из виду, умея сделать беспроегрывные выводы на будущее, что неделей раньше в “Ленинградской правде” печаталась разгромная, а главное, боль-

шая статья о "драмоделах-поденщиках" Рацере и Константинове, расплодивших по стране в неопишуемых количествах и отвратительных качествах, по сути, один-единственный сюжет, а именно: Клава любит Колю, но Коля озабочен встречным планом, поэтому не проходящая мимо чужого счастья общественница Хреновна вынуждена выступить в малотиражной печати с личной кампанией в защиту молодоженов, участковый дядя Жека Замни-Борец, волоча Хреновну в ПМГ, оказывается ее без вести сбежавшим вестовым, так как Хреновна комиссарила еще аж в Порт-Артуре, правда, на свой страх и риск, но все кончается хорошо: обе пары расписываются в книге почета на "Авроре".

Гумилеву потому повезло с драматургами, что, имея дело большей частью с голыми формами, драматурги привыкли строить если не свои пьесы, то собственную жизнь с намеком на осмысленность, — известно, что среди задержанных на воровстве автомобильных колес неизмеримо крупный процент в сравнении с другими профессиями составляют сценаристы "Ленфильма", специализирующиеся на детективах.

Кроме того, одни драматурги только и явились на выступление профессора Гумилева.

А профессор Лев Николаевич Гумилев, сын первой ласточки культурной революции и последней птицы русской литературы, имея снисхождение к общему уровню развития Союза советских писателей и все понимая, начал свое выступление утверждением, что преобразование природы суть от Бога, и человеку с его совершенно не обоснованным убеждением, будто он царь теперь уже вселенной, трудно бывает учитывать эпейрогенические движения — процесс поднятия и опускания участков земной коры, потому что она тоже живая и дышит, земля, что человеку, сопящему от счастья преобразования планеты, за своим сопом, естественно, не слышно.

Секция драматургов терпеливо ждала, что дадут дальше.

А профессор Лев Николаевич Гумилев, взглянув на секцию и увидев, какая она есть, и себя перед ней на эстраде, в обоих смыслах этого слова, и утвердившись в памяти родителей, и уверившись в верности избранного, казалось бы, во имя полного абсурда, а на самом деле подбивая итог жизни, исключая себя из нее, натурально устраняясь по собственному желанию от участия во всенародном самоуничтожении, без гласности, веревки, даже холодно, продолжил. Так, он сказал, что река Аму-Дарья не впадает в Аральское

море, — нечему, вся целиком разобрана на орошение хлопковых полей, аналогично и Сыр-Дарья, отчего в огромном Узбекистане, а считая с сопряженными территориями, на всей Средней Азии, как минимум, изменяется режим грунтовых вод. В результате усиленной ирригации еще недавно плодороднейшие почвы среднеазиатского бассейна непоправимо засолены, их нужно промывать от соли, но земля — не сеledка.

Задержать катастрофическое обмеление Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи — но чем? Уменьшить посевные площади? Но приученная нами к постоянному орошению и вдруг переставшая орошаться земля неотвратно превращается в пустыню. Пустыня же стремится расширяться. Наступление барханов на поля, песчаные заносы городов можно предотвратить единственно новым орошением, орошением непригодных для сева засоленных земель.

Для нового ли, для старого ли орошения требуется вода, но ее нет больше. Нарушено природное равновесие, водного баланса юга страны уже не существует на этом свете. Дни Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи сочтены. Новую Сахару разводим на окраинном приусадебном участке. Не великовато ли подопытное поле для России? Куда деть, чем кормить 50-миллионное национальное меньшинство непетербургской интеллигентности, когда в один прекрасный день оно увидит себя сидящим наравне с ящерицей под солнцем посереде выжженной равнины напротив водопроводного крана, из которого не капает вода? Как будем переубеждать, если рядовой и сержантский состав советской армии едва не на треть состоит из выходцев среднеазиатских республик?

Впрочем, — заявил профессор Лев Николаевич Гумилев, — во всем этом нет секрета. Известно, что следующей после завершения БАМа всенародной стройкой будет объявлено строительство каналов, соединяющих великие сибирские реки и, возможно, Ладогу с Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей. Таким найдено решение среднеазиатской проблемы. Перебросом вод, подсыщением, подпитыванием мы намерены... что намерены? избежать очередного нашествия, на этот раз, изнутри себя?.. на что рассчитываем? что мировая бойня начнется раньше, чем гражданская резня?..

Предположим, что по тысячекилометровым каналам воды сибирских рек не разбазарятся по дороге и оросят все те же вконец засоленные среднеазиатские почвы, предположим. Тогда на минуту представим себе, к каким последствиям это приведет бассейны собственно сибирских рек, режим солёности в Арктике, ледовый

покров полюса, чем грозим мы Северному Ледовитому океану. Опытным путем этого не установить, зато можно испытать на практике.

Экологические сдвиги тем забавны, что носят характер необратимости и глобальности. Когда где-то оборвется, покатится все сразу и повсюду. Как никогда, мы близки ко всемирной революции. Мы добивались ее планомерно — не мытьем, так катаньем. Сейчас, минуя внешнеполитические и стратегические средства, мы держим руку на рычаге, способном перевернуть мир. И вблизи рычага нет никого, кому было бы хоть на грош дела до этой руки. Спасибо за внимание. Прощайте.

Профессор Лев Николаевич Гумилев — и секция драматургов Союза советских писателей. Единственный ученый за тысячелетнюю историю существования Российского государства, кто удосужился научно поставить вопрос о происхождении России: как складывалась нация, где зарыты ее корни, что было на месте России до России, словом, откуда пошла русская земля, — и секция Союза советских писателей. Что такое написано на ее секционном лице, чего бы он не мог прочесть или в оценке чего промахнулся бы, читая? Однако, как глубоко, видно, и по сю пору в России сидит представление о писательстве, как о средоточии выражения русского сознания, если даже профессор Лев Николаевич Гумилев, как никто другой знающий цену современности, для своего заключительного слова пришел в дом на улицу Войнова. Видно, против всех доказательств разума держал про себя надежду, на авось шел, а ну как вдруг да и ...что? бросят с издательской трибуны клич "спасайся, кто может", воспламят общественное мнение, увлекутся экологической темой в творчестве?.. Да хоть это, и то хлеб бы.

"Белые, бледные, нежно душистые грезят ночные цветы..."

После гумилевского выступления спустились в ресторан. Бифштексы уже кончились. Заказали у Сережи "из холодильника, чтобы потненькие". Либреттист Дмитриин перед толстой пианисткой, случившейся поблизости, ни с того ни с сего стал нахваливаться Александра Володина: "Алесан Моисеич, такой он чудный человек, мягкий, ничего — ни грубости никакой, не нахамит никогда, на голову никому не накладет, нет лучше людей, самый он как-то душевный, что ли..." Пианистке — что? Она толстая — смеется. Александр Володин в двух шагах сидит, слушает.

Игнатий Дворецкий объясняет, что такое драматургия, сфор-

мированному им при секции отделению молодой писательской поросли: “Что такое драматургия? Драматургия это: “Да”, — “Нет”. “Да, да, да, да, да”. “НЕТ!!!” “Не нет, а д-а”. Вот что такое драматургия, вот. Я, конечно, дико извиняюсь, что я в драной рубахе, но она мне нравится, понимаешь?

Один из этого дворцевого подразделения, Кургатников, уже не с инженерским портфельчиком под куцей пиджачной мышкой, а с замшевой сумкой — такая через плечо и много-много кармашков — только он один и начал было, мол, Гумилев-то — профессор, а в выступлении мало внимания уделено аргументированию, но даже такой Кургатников отвлекся, так как выяснилось, что если полизать у товарища — второй стол от угла, весь в зеленом и с зачесом, — то возьмут на московские гастроли ТЮЗа. В Москве предполагалось бросить все тюзовские силы и связи на выполнение генерального задания: любой ценой достать на спектакль министра культуры Демичева. В Москве Кургатников стал вполне драматургом: на спектакле, в целях учебы, он пристроился недалеко от глав. реж. театра Зинов. Яков. Корогодского и наблюдал, как тот битых три часа не давал Демичеву взглянуть на сцену, вертя у него перед носом руками и удивляя знатного гебешника слухами о закулисных извращениях, и как затем снес демичевского внука в туалет и там лично держал дитя над писсуаром.

Даниил Аль, последнее время отпихнутый от кормушки революционно-документального жанра, устремился к раскинувшемуся за стойкой бара Д. М. Генкину, монополизировавшему массовые зрелища в стране, отчего во Дворце Съездов за показ героических будней доходчивыми средствами монументальной пропаганды генкинскую руку Брежнев жал, Генкин теперь в баню в гипсе ходит.

Потом все куда-то разбрелись. Старперы смешались с бильярдистами под вешалкой. И день закончился как обычно: так и не смогли начаться.

Ночью, если проснуться, всегда есть хочется. За это нельзя винить человека. Ему говорят пророки: куда бежишь, следующий шаг не успеешь пройти, как исчерпаешься весь и надолго. А человек не отвечает, потому что он жратвой до того забит, что уши, словно от перепада давления, заложило, и сам весь хрустит, как заяц на первом снегу.

Да, живуч человек. Причем, реальных причин для живучести, например, у советского человека, в сущности, нету: промышлен-

ность не включить-не выключить: все краны сперты; сельское хозяйство в тоске — уже частный сектор не внести; семья стала местом общего пользования: заходи и грейся; система здравоохранения — скорая помощь для самоубийц; образование померло со страху, что случайно чему-то научит; детское воспитание — шприц для отсасывания души; армия — школа молодого волка; пресса — туалетная бумага; искусство — просто дерьмо; спорт — политика; политика — блядь, которой не платят; экономика — пьяная иллюзия. На сегодняшний день у страны — одна тема для разговора: “На чем держимся?”, — от пивного ларька до академических кругов народ задается вопросом и не видит на него ответа. А мы видим. Спасибо родной партии! Единственно ее неустанным заботам по формированию нового человека светлого будущего завтра российский человек обязан остатками человечности в себе. Он 60 лет, как 17 мгновений, стойко простоял под непрекращающимся коммунизмом и закалился прямо как сталь. Вот причина его живучести, а отнюдь не вечный двигатель бюрократии. И мы верим, что после близкого мирового пожара и оползня ледников с северного полюса у российского человека достанет живучести, чтобы снова, в который раз начать все сызнова.

Над Россией безоблачное небо, и ни намек на майскую грозу.

Юрий Меклер (р. 1949), окон. факул. русс. яз. и литературы Ленпединститута им. Герцена и фак. режиссуры Лен. ин-та культуры им. Крупской. Эмигрировал из СССР в 1978 г. Живет в Риме.

Акачан Ионичка Зайс родился в июле 1978 года в Токио. Июль — самое жаркое время в японской столице, когда влажность и жара вместе делают ее совершенно не пригодной к жизни. Впрочем, опытные японцы нашли способ защититься. Даже точнее — несколько способов. Один, наиболее простой, — залезть в выдолбленное в скале ложе горячего источника, положить маленькое полотенце — размером с салфетку — себе на голову, чтоб было чем пот вытирать. Если к горячим источникам ехать лень — можно обойтись и **о-фуро**, тем, что раньше переводчики переводили как "почтенная баня". Почтенные бани находятся в каждом квартале, вход в них по цене совершенно доступной. Но акачан был еще слишком молод для о-фуро, хотя его родителям приходилось мыться и менять одежду четыре раза в день. Третий, самый хитрый способ противостояния жаре — это праздник О-Бон. Теоретически — это праздник почитания духов, а практически — праздник самого жаркого времени года, предназначенный взбодрить сердца намеком на то, что жарче уже не будет. В старину О-Бон праздновали на месяц позже — в августе, когда осенняя прохлада уже была не за горами. Но сто лет назад

Израэль Шамир

**ПОХОЖДЕНИЯ
АКАЧАНА ИОНИЧКИ
ЗАЙСА В ЯПОНИИ**

*(из кругосветного
путешествия Зайса)*

великий реформатор, японский Петр Великий – император Мэйдзи – решил перевести Японию на европейский календарь вместо старого китайского и сдвинул все праздники на месяц вперед. Теперь Новый год в Японии празднуется тогда же, когда в Париже или Москве, а не в самое холодное время года в феврале, как раньше. Из-за этого все приметы и все стихи старых поэтов стали невразумительными. Но О-Бон от этого выиграл: его теперь празднуют и по новому, и по старому стилю.

Акачан Ионичка Зайс родился прямо в самый праздник О-Бон по новому стилю и по токийскому времени. Акачан – это малыш по-японски, Ионичка – имя нашего акачана, а Зайс – это русский “заяц”, но рифмующийся с английским “найс”. Родители этого космополитического ребенка оставили Лондон, Иерусалим, Стокгольм и Новосибирск ради Токио и перебрались на год с лишним в эту новую столицу.

К пяти часам вечера приятный ветерок начинал дуть сквозь наш старинный деревянный дом в зеленом и центральном районе Токио. В это время и надо выходить на улицы на празднество О-Бон. Токио выглядит в эти вечера, как юная девушка в разноцветном тонком льняном кимоно (которое, впрочем, называется не кимоно, а **юката**) и в деревянных **гэта** на босу ногу. Уже задолго до начала праздника торговцы придвигают рулоны чистой льняной ткани поближе к прилавкам. Уличные афиши изображают самых популярных актрис в новеньких юкатах. В этом году в моде юкаты темно-синие или даже черные, а по ним – красные, белые и желтые цветы. Такую юкату прелестно перетянуть желтым или красным кушаком **оби** – тоже летнего типа. Настоящее кимоно нужно одевать вдвоем, а лучше втроем, затянуть настоящее оби и вовсе дело нелегкое: летом, да еще в О-Бон, ни у кого сил на это не хватит. Поэтому в ход идет летнее оби – уже заранее увязанное узлом с резиночкой. У мужчин расцветка попроще, синяя с белым, или черная, или темно-зеленая, – но уже без цветов. Как в Сибири звук зимы – скрип снега под валенками или сапогами, так в Японии звук лета – это чудный перестук деревянных гэта по тихим переулкам, звук с примесью ностальгии по тем временам, когда гэта носили круглый год. Он напоминает мне жаркое лето, прохладную юкату и тенистые улочки нашей деревни Нижняя Китазава, что в пяти минутах от центра Токио. Гэта мужские – грубые деревянные ходули, гэта женские – кра-

шенные, лакированные и такие крохотные, что врезаются в нежные розовые пятки японок.

Ах, как прелестны японки во время праздника О-Бон! Если что и дает человеку силы выдержать адскую жару дня, так это предвкушение вечера, когда эти прелестные создания выйдут на улицу в своих тонких ярких юкатах.

Но главное в О-Боне — это, конечно, танцы. Народные танцы **одори** ведутся по-своему в каждой провинции и в каждом районе Токио. В Токио мало местных уроженцев, большинство жителей — приезжие из различных областей страны. Поэтому во время О-Бона здесь можно увидеть танцы всех провинций. Их танцуют на улицах и в храмах, на импровизированных сценах или прямо на асфальте. На танец в европейском смысле одори не похож, скорее — на старинное русское коло, хоровод.

В старину японцы не знали кондиционеров воздуха, да и сейчас это — редкая новинка в японских домах. Для того, чтобы мороз пошел по коже, лучше рассказать страшную историю о призраках и привидениях; и время О-Бона — это пора страшных рассказов. В театрах идут пьесы о людоедах и призраках, о лисах-оборотнях и страшных убийцах.

Классическая страшная история, приуроченная к О-Бону — Адачигахара. Ее ставят как в театре Но, так и в Кабуки (под разными названиями). Начало Адачигахары было использовано Куросавой в фильме “Кровавый трон” (японская версия “Макбета”). Монахи-паломники и их слуга — комический персонаж — идут через густой лес. Им попадается избушка, в которой сидит старая женщина за прялкой. Она радушно принимает их, они беседуют о просветляющем влиянии Будды вообще и молитвы “Наму Амида Бутсу” в частности, затем она ухаживает за хворостом. Тем временем монахи ложатся спать, а слуге не спится. Он крутится, вертится, заглядывает в избушку — и, о ужас! — она полна обглоданных человеческих костей. Старушка оказалась страшным чудовищем, бабой-ягой, пожирающей приходящих. Проснувшиеся монахи стзновятся на молитву, а слуга в переполохе бежит по лесу. Тут он натывается на возвращающуюся старуху — бабу-ягу. Оказалось, молитва и душеспасительные разговоры монахов заставили ее забыть о людоедстве. Она танцует танец молодой девушки, музыка выражает чистоту ее души. Но когда слуга подбегает к ней и она замечает его ужас, к ней возвращаются страшное обличье и повадки ведьмы. И лишь появление монахов

с четками и молитвами помогает постепенно утихомирить разошедшееся чудовище. Кроме нормальных летних ужасов, в Адачагаре звучит еще и очень японская идея о том, что человек сам накликает на себя беды, если он относится к злему — как к злему. Если бы слуга не подал виду, что он знает о людоедских склонностях ведьмы — так бы ему это и сошло с рук. Можно сказать вообще, что подлинно японское отношение к миру — это отношение зрителя, который никак не выражает свое знание или понимание увиденного. Поэтому так приятно смотреть кино или пьесу в обществе японских друзей — они наверняка не будут комментировать увиденное.

Немало страшных историй для О-Бона записал Лафкадио Хеарн, знаменитый в Японии американский литератор, поселившийся здесь в прошлом веке, принявший японское имя, женившийся на японке и преподававший английскую литературу в различных университетах Японии. Японцы склонны преувеличивать литературные достоинства Хеарна — он стал местной знаменитостью, как Стивенсон на Самоа или Мозэм в Сингапуре. Но если на Самоа и в Сингапуре местной литературы просто нет или почти нет, в Японии литература цветет уже второе тысячелетие. И тем не менее преклонение (так и тянет написать “низкопоклонство”) перед Западом и в первую очередь перед дважды побившей японцев Америкой заставляет японцев восхищаться Хеарном и даже считать его “крупным американским писателем”. Добро бы они любили Мелвилла или Фолкнера — но Хеарн!.. Все же этот Хеарн, человек, питавший искренний интерес к Японии, записал много японских народных рассказов о призраках. Некоторые из них послужили материалом для известного фильма “Квайдан” — также любимого фильма летней поры. Обедневший самурай оставляет свой дом, покидает жену и отправляется искать счастья в чужих краях. Он женится на другой и становится богатым, но все больше тоскует о покинутой жене. Наконец он не выдерживает и пускается в обратный путь. Он находит свой дом в развалинах, однако в комнатке горит свет, и его супруга по-прежнему сидит за прялкой. Она радостно встречает его, и они проводят ночь в любовных утехах. Под утро он засыпает, а когда просыпается, то видит, что обнимает скелет, — его жена давно умерла.

В Токио празднуют О-Бон по новому стилю, а в провинциях — по старому. И поэтому вплоть до середины августа по стране идет О-Бон с его танцами, юкатами и ужасами, леденящими кровь.

Ужасный, потный месяц июль стоял в стране, когда родился акачан. Некоторые споры не решить никогда, даже потомству и то не удастся установить, например, какая водка лучше — русская или польская. Так же вечен спор: где хуже в июле — в Токио или в Киото. Япония — страна не маленькая, занимает много островов, но в представлении японцев она состоит из двух столичных районов, которые только и важны: Токио и Киото, все остальное — глухая провинция. Когда-то на единственной дороге между Токио и Киото стояла застава, по-японски — секи, по-китайски — кан, и эти районы соответственно стали называться: К востоку от заставы (Канто) и К западу от заставы (Кансай). Отношения между жителями двух столичных районов — как между москвичами и ленинградцами. Западный район — это историческая родина японской культуры, монархии, аристократии. Чуть не до конца первого тысячелетия жители этого района и не подозревали, что в других частях страны тоже живут люди. По их мнению за десять километров от Киото уже жили только дубины неотесанные, простофили и грубияны. Однажды один из блистательных поэтов и аристократов тех времен, Аривара Нарихира, попал в дальнюю деревню (наверно, сейчас это пригород Киото), и там у него был короткий роман с прелестной поселянкой. Когда ему надо было уезжать, он начертал для нее несколько строк:

Если б сосна Курихары
была б человеком,
я б взял ее с собой в столицу —
как память с дороги.

Смысл этого четверостишия оскорбителен и ясен — Нарихира не считает деревенскую девку за человека, она неотесана, как сосна, но даже если бы она вдруг обернулась человеком, то и тогда он взял бы ее с собой лишь как дорожный сувенир. Однако, продолжает повествование, девушка была страшно рада. Почему? Она поняла только третью строку.

В те времена литература писалась для столичных жителей, вся она строилась на аллюзиях к китайской поэзии и к событиям придворной жизни. Еврею, воспитанному на Талмуде, а еще лучше — на рассказах Шмуэля Иосефа Агнона, читать классическую японскую литературу дело легкое и привычное. У Агнона ведь тоже каждая строчка содержит в себе глубоко запрятанную аллюзию с той или иной фразой в Библии или в Легендах, и если

аллюзия пропущена — фразу понять трудно. Так же было и в классической японской литературе и поэзии, а в особенности — в пьесах Но. В этих пьесах почти каждая фраза — ссылка на Бо Дзю-и или Маньоши. Понятно, что за пределами столицы никто их и не понимал. Затем внезапно счастливое неведение столичных жителей окончилось. Воинственные самураи, жившие на востоке страны, в районе теперешнего Токио, на самой большой в Японии равнине, перестали подчиняться власти императора и аристократов и, сжегши несколько раз Киото дотла, установили в стране власть наследственного военного диктатора — сегуна. Со временем престол сегуна обосновался на востоке, где впоследствии и вырос метрополис Токио. На западе разрослась Осака, на востоке возникла Иокогама, и вот теперь большинство японского населения живет в этих двух сверхгородах — Канто и Кансае. Эти два района спорят за первенство во всем, даже, как уже говорилось, в том, где хуже погода. Токио так огромен, что на машине его и за три часа не пересечешь. Жара в этом море асфальта и бетона ужасна. Но Киото, хоть и гораздо меньше, запрятан в кольце гор, не пропускающих ветерка, между тем как Токио лежит на берегу Токийского залива, хоть и спиной к нему. Короче, выбор сделать трудно. У японцев ходит поговорка: женщина хороша с запада, а мужчина — с востока. Есть различие и в еде. В Канто еда более пикантна, чем в Кансае, в Токио больше видов плебейской еды. Вообще плебсу родина — Токио. Речь идет о том веселом, жизнерадостном плебсе, что ходил в деревянных гэта и обмотках, хлебал, причмокивая, лапшу из гречки, пахнущую теплом и японским домом, обожал театр Кабуки и танцы одори. Сейчас этого плебса уже нет, разве что на сцене Кабуки, куда сегодняшней простой люд не очень-то ходит. Однако заряд демократичности по-прежнему чувствуется в Токио гораздо сильнее, чем в Киото, и особенно — в токийском искусстве. У меня заняло гораздо больше времени привыкание к демократическому искусству Кабуки, чем к аристократическому искусству театра Но.

Театр Но, о котором еще тысячу раз пойдет речь далее, это подлинный живой средневековый театр, в котором потомки актеров 14-го века играют пьесы 14-го века по правилам 14-го века. Для японцев Но — то же, чем для европейцев была бы классическая греческая трагедия, если бы она игралась, как при Эсхиле. Но — необыкновенно медленный театр. Слова здесь не выговариваются, а поются под аккомпанемент барабанов. Движения плавны

и медлительны. Сценой служит подмостье храма (если спектакль идет в помещении, то подобие храма сооружается внутри). Сцена маленькая, с четырьмя столбами по краям. Без этих столбов актеры с масками на лицах не смогли бы двигаться — прорези для глаз узки, мало что, кроме столбов, видно. Актеры не ходят, а плывут в своих белых носках по сцене. Голова при этом движется совершенно прямо, как будто актера тянут невидимые силы. Такиги Но гораздо быстрее обычного театра Но — такиги Но играют под открытым небом при факелах, обычно вблизи храма. Еще давний классик Зеами написал: "Но под открытым небом нужно играть куда быстрее обычного, так как внимание зрителей рассеивается в такой обстановке больше, чем в закрытом помещении". Какая необыкновенная красота: представьте себе косые крыши шинтоистского храма, вокруг пылают факелы, служители и служительницы храма в белых одеяниях стоят по краям сцены, а на сцене безумствуют краски кимоно и низкие мужские голоса поют песни давно сгинувших бойцов.

На представления с нами ходил наш хороший друг Коноскэ, один из наиболее блистательных актеров Но в Токио. Его судьба была необычной — он не родился в семье актеров Но. В нормальных обстоятельствах ему было бы легче стать герцогом Мальборо, чем актером Но — ведь это ремесло передается строго из поколения в поколение, никогда не выходя из семьи. Тому есть, кроме традиционно-феодалных, и вполне реалистические причины: актер Но должен иметь много кимоно и много масок. А хорошие маски стоят тысячи, десятки тысяч долларов, — если они сделаны старыми мастерами. Вырезанные из дерева маски в старину создавались еще до написания пьесы — лишь затем для той или иной маски писалась пьеса. Кимоно, даже современное и простенькое, из тех, что можно купить в универмагах Токио, стоит тоже не меньше тысячи долларов, что уж тут говорить про старинное рукоделье. Да никто и не продаст старую маску или старое кимоно. Поэтому Коноскэ дорога на сцену Но была заказана, — хотя он родился в семье актеров **киоген**. Киоген — это комическая интерлюдия между пьесами Но, вроде средневекового европейского фарса, с постоянными героями — глупым самураем-хозяином, хитрым слугой и забавными оборотнями. Киоген не требует особо дорогих костюмов, однако и актеры киогена — это замкнутый клан. Но Коноскэ повезло — на тот же феодальный манер, как могло повезти мальчишке его лет и триста лет

назад. Он женился на дочери одного из знаменитых актеров Но, который вел свою родословную от самого Зеами. У того не было сыновей, и, как заведено в таких случаях у японцев, Коноскэ принял фамилию своей жены и стал считаться сыном и законным наследником семьи актеров Но. Интересно, что таким же манером пришел к власти последний сегун Японии из рода Токугава. Вообще японцы испокон веков практиковали усыновление детей младших родов — чтобы добавить свежей крови в жилы высшей аристократии и дать надежду низшему дворянству на блистательную карьеру, которая иначе была заказана им.

Сейчас Коноскэ играет в театре школы Канзе и преподает танцы и пение Но многочисленным любителям. Но — аристократическое искусство, и многие стремятся поучиться танцам и пению, чтобы ходить с грацией, правильно носить традиционную одежду, короче — чтобы добиться совершенства в трудном деле: быть японцем. За три-четыре урока в месяц они платят по сто — сто пятьдесят долларов, но, поскольку все подлинно японское дорого — платят охотно. Коноскэ высок, красив и статен, и на нем и кимоно, и хакама выглядят, как на старинных рисунках, так хорошо, что грустно было смотреть, когда он переодевался в современный европейский костюм. У актеров Но не бывает подлинно популярной славы, какая может выпасть на долю актера Кабуки или футболиста; все-таки — искусство для избранных. И еще — в Но достигают вершин ремесла и особо важных ролей лишь годам к шестидесяти-семидесяти. Считается, что актерское ремесло настолько сложно, что лишь к старости актер сможет сыграть главную роль в большой пьесе. И действительно, старики играют превосходно. Билет на пьесу, где играет знаменитый старый актер, стоит до 50 долларов, а то и больше, и случается такое представление не часто. Коноскэ рассказал нам об основах Но, изложенных в книгах Зеами, средневекового мастера и основателя Но в его современной форме. Актерское мастерство, писал Зеами, состоит из трех элементов. Во-первых — сходство с жизнью. Если актер играет старика, он должен показать, что это — старик, если женщину — то должно быть похоже на женщину. Настоящих живых женщин на сцене Но, как и в любом японском театре, нет, и женщин играют мужчины. Когда меня это удивило, Коноскэ ответил: а то, что люди играют богов на сцене, тебя не удивляет? Рассказывают, что когда-то молодой актер Но заметил старую женщину, которая так прекрасно держалась, что он решил сле-

довать за ней, чтобы научиться манерам старых женщин. Она заметила его и сказала: уже давно молодые люди не ходили за мной по пятам, и я не так тщеславна, чтобы приписать это своему обаянию. Расскажи мне, в чем дело? И молодой актер рассказал ей, что ему предстоит серьезная роль старой женщины, и поэтому он хотел бы поучиться у нее манерам. Тогда старуха ответила: это не путь Зен, ты должен не копировать жизнь, а воссоздать старую женщину, разглядев ее в своей душе. Она была права, замечает Зеами, сходство с жизнью не означает копирования.

Второй элемент актерского искусства, по Зеами, это хана, цветок. Он уподобляет игру актера распускающемуся цветку. В ней должна быть редкость, исключительность, сиюминутность — как будто именно в этот момент перед глазами зрителей распускается цветок редкой красоты, именно — не цветет, а распускается. Это зрелище должно заставить зрителя ахнуть — как будто луна проглянула меж туч и озарила прекрасный храм. Если, например, актер играет старика, то, в соответствии с первым принципом, ему нужно сутулиться, “быть подобно старому дереву”. Но тут появляется второй принцип — он должен быть подобен ветке старого дерева, на которой распустились цветы. Это “старое дерево в цвету” — ключ к игре Но.

И наконец третий принцип эстетики — юген. Юген — это ощущение легкой грусти и восхищения красотой, которое появляется, когда видишь серебряное облачко, проплывающее по лику полной луны, пишет Зеами.

Но — непопулярное искусство. Много раз уже объявляли о его близящейся кончине, тем не менее, говоря словами классика, слухи о смерти были несколько преувеличены. Ближе всего к гибели Но было в дни реставрации императора Мэйдзи, когда японцы открыли для себя Запад и модным стало подражание Западу во всем. Редкий человек, Эрнст Феннолоза, помог остановить этот процесс. Эзра Паунд, обрабатывавший переводы Феннолозы, пишет о нем: “Жизнь Феннолозы — это квинтэссенция романтики. Он отправился в Японию преподавать экономику и стал имперским министром по делам искусства. Сказать, что он спас японское искусство для Японии, может, будет преувеличением, но он сделал все, что было в человеческих силах, для того, чтобы возратить японскому национальному искусству его доминирующую роль и остановить обезьянье копирование Европы”. Феннолоза собрал, перевел и издал ряд переводов пьес Но, но еще более

важно то, что он — иностранец, человек, пришедший из победоносной Америки второй половины 19-го века, — не смеялся над Но, а восхищался им. Нельзя забывать, что дни после реставрации Мейдзи были черными днями для японского национального духа — иностранные канонерки свободно обстреливали берега Японии и иностранные консулы правили в Иокогаме и Нагасаки, как в собственной колонии, как в каком-нибудь Шанхае. Традиционная Япония рухнула, когда она не смогла остановить “черные корабли” commodора Перри и была вынуждена принять его ультиматум. В тот роковой момент, когда до двора фактического правителя Японии до реставрации — сегуна из дома Токугава — дошла весть о том, что “черные корабли” американского флота вошли в Токийский залив, сегун смотрел, как Умевака Минору играет пьесу Но. Через несколько лет режим сегуна был ликвидирован странным союзом сторонников модернизации Японии и крайних националистов и врагов Запада. Любимое искусство сегунов и аристократов чуть было не последовало за ним. Но Умевака и прочие тогдашние главы кланов Но продержались до тех пор, пока не началась естественная реакция на увлечение Западом. Феннолоза, так много поддерживавший их, умер в Англии, куда он поехал на короткое время. Имперское правительство Японии послало за его телом военный корабль, и он был похоронен в храме Мии.

Итак, Но выстояло, но особо популярным не стало. Самый “популярный” театр Но в Токио — это театр Канзе, в районе Шибуба, где программы ставятся почти ежедневно. Пьесы Но не слишком длинны, поэтому в обычной программе — три-четыре пьесы, а в перерывах между ними — фарс киоген или песни утай и танцы бутай. Такая программа идет, скажем, с пяти до девяти вечера. В зале — человек семьдесят, почти все обычно знают друг друга. Так как мы ходили туда почти ежедневно, то и с нами стали здороваться, хоть слишком низко и не кланялись — иностранцы, мол, все равно не поймут. А вообще-то японцы любят кланяться. При этом глубина и продолжительность их поклонов зависит от возраста, пола и общественного положения. Как правило, при расставании дается поясной поклон, а при входе в японский дом — поклон земной. В японской комнате, как известно, сидят на полу и передвигаются, не вставая, почти на четвереньках. Входя в дом, гость просит прощения за то, что он входит, затем становится на колени на край татами, японского пола из соломенных циновок, и бьет хозяину че-

лом. Тот либо отвечает тем же, либо лишь наклоняет голову — в зависимости от различия в их положении.

Точная наука, как и насколько кланяться, иностранцу непостижима. Японцы усваивают ее с рождения — начиная с четвертого месяца жизни и вплоть до трех лет малыш висит на спине у матери почти всегда, когда она выходит из дому. Кланяется мать — и малыш воспринимает правильную глубину и ощущение поклона прямо через спину матери. Но европейские женщины так глубоко не кланяются, поэтому акачан Ионичка, может быть, и не сможет как следует поклониться — по-разному женщине, боссу, подчиненному. Не только глубина поклона, но и слова меняются в зависимости от того, кто с кем говорит. До чего простое слово "я", — а у японцев есть десяток слов, выражающих этот смысл. Если говорят друг с другом два студента или молодые мужчины, они скажут "боку"; говоря с посторонним, не слишком высоким чиновником или с пожилой женщиной невысокого положения, они же скажут "ваташи"; говоря с лицом более почтенным, скажут "ватакуши"; солдат или мужик скажет о себе "оре"; "варе" — скажет самурай; и "джибун" — скажет полицейский или офицер. Женщины же говорят о себе только "ваташи" или "ватакуши", в зависимости от того, с кем говорят. Женщину, как правило, по имени и вовсе не зовут. Помню, читал я как-то жалобу домохозяйки в газете "Иомиури Шинбун". Она писала: "С тех пор как я вышла замуж, никто не зовет меня по имени. Посторонние зовут меня ОКУСАН (у — почти не произносится), то есть почтенная домохозяйка; дети зовут ОКААСАН — матушка, а супруг — просто "Эй, ты". Глагольные формы также указывают — и почти однозначно — на взаимоотношения сторон. Говоря о себе, вежливый человек, как правило, говорит в уничижительном ключе, пользуясь словами с презрительным оттенком. Говоря с кем-нибудь, он величает собеседника нейтрально — если тот моложе или ниже по положению, или почтительно — если он равен или выше на ступеньку в этой невидимой японской пирамиде. Например, разговор: "Вася дома? — Нетути" — переводится на японский так: "Не соизволит ли почтенный Вася пребывать дома? — Не заслуживающий Вашего внимания Васька отсутствует-с". Весь этот длинный ответ дается одним словом "оримасен", указывающим на возвеличивание собеседника и уничижение Васьки.

Эта манера разговора связана с национальной чертой харак-

тера, которая делает японцев очень приятными в обращении. Они свою гордость — национальную или семейную — никому в нос не тычат, всегда уступчивы, всегда дают дорогу и соблюдают очередь. Насколько легче становится жизнь, если все немножко принижают себя, нужно только, конечно, чтобы это делали все, иначе получится, как в прекрасном анекдоте, который однажды рассказал мне Анатолий Максимович Гольдберг, выдавая за чистую правду. Дело в анекдоте происходило на приеме в Токио. Японский премьер благодарит собравшихся послов: “Мы польщены, что представитель великой Голландии почтил нашу маленькую страну своим присутствием”. Голландский посол отвечает: “Это нам выпала честь посетить вашу великую державу”. Японец продолжает: “Мы польщены, что представитель великой России почтил нашу маленькую страну своим присутствием”. А советский посол отвечает: “Ничего, ничего, мы и не такие дыры видали”.

Эта абсолютная вежливость японцев проявляется во всем. Когда заходишь в ресторан, тебе все кричат: “Иррацщай масэ, милости просим!” Особенной зычностью этих “иррацщай масэ” славятся токийские рестораны **суши**, но о них — речь потом. Официантка, подавая еду, обязательно извинится: “Простите, что заставили вас ждать” (“Омачидо сама дешта” или “О-матасэ иташи-машта”). А крики благодарности, когда гость платит и уходит, еще долго звенят в ушах.

Надо сказать сразу, что за пределами Токио к иностранцу относятся не так вежливо, как к обычному посетителю. Может, потому, что думают — все равно не поймет, может, из-за непривычки к иностранцам, может, еще почему. После Токио все кажутся грубиянами — и в частности, жители Киото. Я люблю Киото, это прекрасный город, полный древностей, прекрасных храмов, цветов, но его жители, по-моему, очень коротки с иностранцами. Конечно, все равно они вежливее, чем любой европеец, но я помню, как меня резануло, когда официантка поставила передо мной еду и не извинилась. В Токио такого бы не произошло.

И японцы не просто вежливы, как, скажем, англичане — а мы переехали в Токио из Лондона; их вежливость производит впечатление сердечной, теплой, искренней. Лучше всех в Японии было акачану Ионичке. Стоило ему войти (или быть внесенну) в поезд метро или электрички — немедленно он попадал в объятия японок и японцев. Сосед справа или соседка слева брали Зай-

са, и он уходил по рукам куда-то в глубь вагона, откуда раздавался его восторженный смех. Если он тянулся за сумкой или украшениями — он немедленно получал их. Его закармливали странными японскими сладостями, пахнущими водорослями. Старушки дивились его большим глазам и русым волосам. Японцы вообще любят детей и ни в чем им не отказывают. Дети спят с мамой, и все исполняют их капризы до самой школы. Нет, пожалуй, страны, где так хорошо маленьким детям, как в Японии. Для родителей же это просто сказка. Когда мы приходили в рестораны, немедленно прибегали женщины с кухни и из прочих углов и забирали акачана до конца ужина. Там они играли с ним и пели ему японские песни, в то время как мы могли спокойно запивать сырую рыбу супом **мисо**. И еще одно достоинство японских ресторанов и домов — все сидят на полу, и ребенку не приходится ползать меж ног взрослых и взирать на них откуда-то снизу. Ему не нужно и особого высокого стула, к которому несчастное дитя привязывают для кормления и с которого он боится свалиться.

В японском доме или ресторане ребенок равноправен. Даже ползунок, которым был акачан в то время, ничуть не хуже взрослых — он может тоже ползать на коленях по полу или плюхнуться на бок — и все равно остаться на чистых **татами**, быть совсем рядом с лицами и руками взрослых. Это отсутствие расстояния, дистанции между взрослыми и детьми, это вертикальное равенство — одна из самых счастливых находок японцев. Пол — грязная плоскость, по которой ходят ногами, — в Японии не существует. Пол **татами** мягок, упруг, чист, наряден, параден. Он подобен огромной постели, на которой счастливо кувыркаются три поколения одной семьи. В японском доме не нужно и кроватей, с которых дети могут свалиться, не возникает и проблемы "спать отдельно" или нет. Перинки — **футоны** — стелят в любом месте на **татами**, когда идут спать, и убирают поутру. Их можно стелить рядом друг с другом или подальше — по настроению. С них можно легко скатиться и перекатиться, куда хочешь. Японцы считают, что спать одному в отдельной комнате — этот российский идеал и европейский стандарт — просто одиноко, тоскливо.

Правда, этот образ совместной жизни, когда в той же комнате спят все три поколения японской семьи, а зачастую еще и родственники, имеет свои недостатки. Из-за этого в Японии трудно-

вато согрешить, да и с собственной женой поласкаться и то не легко. Поэтому в Японии существует особое учреждение — гостиницы для любви. В этих гостиницах не останавливаются усталые путешественники или командировочные из провинций — только парочки, вырвавшиеся на пару часов. И нет надобности снимать номер на целые сутки — плата в них почасовая. Однажды, во время поездки на север, я оказался в полночь на глухом перекрестке, на изрядном расстоянии от ближайшего села. К счастью, на перекрестке была гостиница. Я попросился, но меня не пустили: “Мы принимаем только пары”, — ответил хозяин, и даже скандал, который я устроил, не помог, пришлось тащиться за три километра в село, где был обычный отель. В Токио эти любовные гостиницы на каждом шагу. Находятся они, как правило, на тихих улочках, но недалеко от одного из центров метрополиса. Принимающая гостей горничная не подымает глаз, не смотрит на лица, не спрашивает имен — она прямо проводит пару в номер, приносит им чай и немедленно исчезает. Номер — обычно двухкомнатный с ванной. В одной комнате — низкая постель, не то японская перинка, не то европейская лежанка. В другой — низкий столик, подушечки, холодильник, набитый бутылками и закуской и даже народными средствами для возбуждения страсти, цветной телевизор, по которому можно смотреть обычные программы или — за дополнительный четвертак — порнографические фильмы с видеоустановки отеля.

Японская любовь всегда начинается с ванны, глубокой и узкой ванны, не похожей на европейские. Это — практически глубокая яма, по пояс стоящему человеку, а то и глубже, выложенная, конечно, белой керамикой, как и европейский бассейн. В ней — маленькая ступенька, на которой удобно сидеть так, чтобы быть по горло в воде. Воду из ванны не выпускают, пока не уходят из номера — в нее прыгают время от времени, как в бассейн. Японцы вообще ощущают связь между водой и эротикой, и у входа в такую гостиницу зачастую сооружают маленький водопад или ручеек, на худой же конец просто обливают мостовую и тротуар перед домом несколько раз в день. Некоторые из этих любовных гостиниц относительно скромны, и берут в них по пятнадцать долларов за два часа, то есть довольно дешево по японским стандартам. В них часто ходят студенты со своими возлюбленными, так часто, как могут себе это позволить. Ведь в Японии ни у кого нет своей комнаты, а того, чтобы все ушли из дому, не бывает —

да если и уйдут, соседи заметят, если кого приведешь; в отличие от Америки, и на заднем сидении автомобиля много не порезвишься: Токио огромен и светел — а за город и за два часа не выедешь. Поэтому японцы прячут страсть, на улицах не только не целуются, но и за ручки не держатся, и даже в парках ведут себя довольно целомудренно.

Есть и гораздо более роскошные любовные гостиницы, выстроенные наподобие океанских лайнеров или средневековых замков, например, знаменитый “Шато Акасака”, в центре района ночных клубов европейского типа Акасака. Там номера носят свои названия, у гостей спрашивают, какого цвета комнату они хотят и какого стиля — европейского с огромной двуспальной кроватью с балдахином и классической мебелью или японского — где гравиевые дорожки отделяют спальню от ванной и маленькие сосенки растут прямо рядом с постелью, лишь слегка приподымающейся над полом из татами наивысшего сорта. И вся эта роскошь — ваша за какие-то 30–50 долларов за два часа. Как-то газета “Июмиури” провела опрос клиентов такой гостиницы тем или иным скрытым способом и выяснилось, что около половины посетителей — это супружеские пары, у которых просто нет возможности свободно и спокойно поласкаться дома так, чтобы дети не смотрели и старики советов не давали. Это — плата за семейную спайку, такое отсутствие возможности уединиться.

Я не уверен, что это вызвано теми же причинами, что и в России: хронической нехваткой жилой площади, — хотя японские дома действительно очень малы. Площадь комнаты измеряется в татами — соломенных матах, причем одного татами достаточно для одного человека, чтобы как-нибудь лечь и уснуть. Нормальная японская комната — это шесть татами; комната поменьше — четыре с половиной татами. Четыре с половиной татами — площадь, достаточная для любовных ласк, и поэтому стоит упомянуть эти слова — и у всех улыбка на устах. Так называются и порнографические поэмы, и фильмы, и книги. Это — излюбленная локация японской эротики. Шесть же татами — это нормальная большая комната, одной такой комнаты хватит японской семье. В больших семьях может быть еще одна-две комнаты: столовая или просто еще одна жилая комната. Но дверей, настоящих, запирающихся дверей нет — есть лишь раздвижные перегородки **шеджи**.

Могли бы японцы жить лучше — в нашем понимании слова?

Кроме национальных традиций, не поощряющих разбазаривания места, есть еще и вопрос о бешеной дороговизне жилья. Квартира в Токио стоит десятки тысяч долларов, квартплата очень высока, деньги в банке на покупку квартиры почти невозможно получить. Поэтому дети вынуждены жить с родителями, и ездить на работу каждый день за тридевять земель, скажем, часа два. Теперь, в наши дни, всюду идет процесс перехода от японского дома к квартирам европейского типа. Такие квартиры, именуемые “мэншинс”, особняки, стоят бешеные деньги, гораздо дороже зачастую, чем настоящие особняки. В такой квартире в многоэтажном доме жил, например, наш друг Коноскэ. Две маленькие комнаты, покрытые коврами — вместо татами кровати в спальне, делающие ее еще меньше, кондиционер воздуха. Насколько лучше настоящий японский дом, например, тот, в котором жили мы с акачаном Ионичкой! Мы занимали второй этаж маленького двухэтажного дома, построенного на одну богатую семью. Глава семьи умер, дети выросли и разъехались, осталась одна старушка, правда, бодрости невероятной, Тазоэ-сан, которая и сдала нам второй этаж. Вокруг дома был подлинный японский сад с маленьким прудом, несколькими апельсиновыми деревьями, кустарником и персимоном, он же хурма. Большая комната — 10 татами, в углу выемка — **токонома**, японский “красный угол”. Здесь ставят статуэтку Будды, вешают свиток с китайской каллиграфией или японской картиной, здесь ставят вазу с цветами, уложенными по законам благородного искусства **икебаны**. Посреди комнаты низкий черный стол — **котацу**, живое и теплое сердце японского дома. Этот стол с маленькой печуркой внизу (в старину с настоящим огнем, а сейчас — с электроспиралью) покрывается теплым пледом; вокруг него собирается японская семья, ноги прячутся под плед, под стол — поближе к огню. Ах, как тепло, как уютно сидеть у **котацу** холодным зимним вечером!

Котацу — единственный источник тепла в японском доме, где нет ни печей, ни нагревателей и где зимой довольно холодно. Но японцы считают, что если ноги в тепле, то все в порядке. Хотя, с другой стороны, они ходят и зимой в деревянных гэта на босу ногу, так что и ноги, видимо, их не очень беспокоят. А если уж наваливается на Японию слишком холодная погода, на помощь **котацу** приходит о-фуру, почтенная баня. И зимними вечерами, прежде чем собраться в комнате, засунуть ноги под **котацу** и,

уложив акачана спать, насладиться блаженством домашнего очага, мы отправлялись в о-фуру.

О-фуру — это просто бассейн с очень горячей водой, такой горячей, что европейцы с непривычки лишь тронут воду — и отдергивают руку. Ополоснувшись из ведра, мы опускаемся в этот прекрасный бассейн и сидим, пока пар не начинает ломить костей. А затем можно отправляться обратно домой, и еще несколько часов будет жарко, где угодно, даже в сердце сибирской пурги.

К слову, до реформатора Мейдзи все такие бани — и частные (как теперь), и общественные, и все горячие источники — были совместными для мужчин и женщин, но приехавшие европейцы этого не одобрили, и все бани стали отдельными — кроме некоторых горячих источников в местах, довольно удаленных.

Зимой после такой горячей бани путь к высшему блаженству лежит через чашу саке у котаци. Наш собственный котаци, благородного черного дерева, был окружен четырьмя черными же подушечками для сидения, красиво выделявшимся на светло-желтых татами. Вот и вся обстановка. Затем бумажные перегородки, шоджи или седжи (смотря по чьей системе писать), разделяющие эту комнату от другой, в шесть татами. В этой другой комнате есть еще и вделанные в стену шкафы или, точнее, ниши, покрытые такими же шоджи — в них днем убирают футон, перинку, на которой спят ночью. Поэтому мы спали в этой комнате. Окон — настоящих окон — в японских комнатах нет. Сама идея прозрачного стекла, выходящего на улицу, противна японцам. Вместо этого длинная стена комнат отсутствует, и там стоят бумажные седжи, хорошо пропускающие свет. Седжи разделяют комнаты и веранду-коридор, проходящую по всей длине дома. Веранда уже застеклена прозрачным стеклом, а в старину она была открыта, и с нее созерцали полнолуние, выпавший снег, распутившиеся цветы сакуры или багряные листья клена — четыре больших праздника года у японцев.

В нашем доме, в качестве уступки иностранцам, была еще столовая европейского стиля, рядом с кухней, — там мы завтракали в случае, если хотелось иногда европейского завтрака. Впрочем, японский завтрак нам был куда больше по вкусу.

Японский завтрак достоин описания — настолько он не похож на нашу идею о завтраке. Когда нам впервые, через несколько дней после приезда в Японию, предложили японский завтрак, мы так ужаснулись, что даже не съели ничего. Прошло какое-то

время, и японский завтрак в сокращенной форме стал нашей ежедневной радостью. Для того, чтобы отведать японский завтрак в оптимальном варианте — соответствующем овсянке, бекону с яйцами, тосту с мармеладом и чаю с молоком в Англии — приглашу-ка я вас на остров Хачиджоджима, в трехстах километрах от главного острова Хонсю и от Токио в сторону Гаваев. На этом дальнем субтропическом острове почему-то возникли необыкновенные гостинички **миншуку**, гораздо более простые и дешевые, чем более известные **риокан**. В миншуку меньше сервиса, дом поменьше, жизнь попроще — но еда остается на уровне просто фантастическом. На острове Хачиджоджима и на ужин вам дадут ассортимент из двадцати блюд — нет, не на выбор, на съедение. Впрочем, завтрак на Хачиджоджима достоин подробного описания.

Японский завтрак подают сразу, без перемен. Его центр — это благородный рис, сваренный идеальным образом — он чуть клеек, совершенно ровен и бел. Этот рис — знаменитый японский рис — покупают гурманы из Юго-Восточной Азии, хоть он в три раза дороже любого другого риса. Второй обязательный элемент завтрака — это суп **мисо**. Вместе с рисом мисо является основой японской кухни, и редкий японец не ест и то, и другое три раза в день. Мисо — это паста бобов, а варится она со всякими небывалыми и неопикуемыми травками. Третий столп завтрака — тонкие листики морских водорослей **нори** благородного темно-зеленого цвета. Четвертая опора — сырое яйцо. Поставьте еще на стол бутылку соевого соуса, и японский завтрак (сокращенная версия) готов. Теперь нужно разбить яйцо и вылить его в отдельную керамическую чашку — можно в ту же, в которой оно лежало, налить туда же сои и хорошо перемешать кончиками ваших **о-хаши** — почтенных палочек. Получившуюся смесь надо вылить на теплый рис в чаше и старательно перемешать. В отдельную плоскую прямоугольную тарелочку нужно налить еще сои. Теперь захватите вашими о-хаши лепесток морских водорослей, обмакните его в сою — он утратит свою сухость и станет мягким и гибким. Положите его на рис и захватите палочками лепесток нори, стараясь прихватить при этом еще и рис, как будто вы стараетесь прихватить песок в носовой платок, раскинутый на земле. Ну вот, а теперь в рот. Вкусно? Должно быть очень вкусно, если рис был правильно сварен.

Вот он, утренний запах Японии — вареный рис с яйцом и соей,

запах домашнего очага. Вне дома не найти вам такого завтрака: в ресторанах и кафе подают лишь европейский завтрак — тост и кофе. Лишь в японского стиля гостиницах, риоканах и мин-шуку, можно найти надлежащий японский завтрак. Пятый элемент завтрака, без которого он останется на уровне ломтя хлеба с чаем, — это жареная без капли масла маленькая **барракуда**. Барракуда на завтрак — это святое право каждого японца. Эти маленькие сушеные-вяленые барракуды, разделенные на две половинки по длине, продаются повсюду. Шестым номером вашей программы будет тертая редька **дайкон**. Эта редька — популярное народное блюдо, и у поэта есть такая картинка “счастливой бедности”:

С женой и детишками вокруг стола
Едим тертую редьку.

Седьмым, но не последним — тарелочка с различными солеными овощами, корешками и травой — пикулями. Прекрасно делают на Хачиджоджиге **чаван-муши** — желеобразное блюдо с креветками, грибами и яйцом, успокаивающее сердце. Девятым пойдет кусок **тофу**, бобового творога, продукта, достойного многих книг, а не краткого упоминания. Тофу — почти чистый протеин, и получается он в результате процеживания пюре вареных белых соевых бобов. Несть числа блюдам, изготавливаемым из тофу, и в Токио захаживали мы в знаменитый ресторан Саса-но-юки (снег на бамбуке), где на обед подают шестнадцать различных блюд из тофу — и здесь не на выбор, а все сразу. Но на завтрак лучше всего простой кусок тофу, политый соей и присыпанный **кацуобуши** — тертой в порошок вяленой рыбой **кацуо** (бонито).

А теперь, если вам повезло приехать на этот дивный остров в мае, — очередь той же рыбы кацуо в чудном сыром виде и с чесночным острым соусом **кацуо-такаки**. Нежность кацуо-такаки ни с чем не сравнить, а острота его делает это блюдо самым пикантным в довольно пресной японской кухне. Впрочем, Хачиджоджигима — не самое лучшее место для этого блюда блаженных. Если уж вы в мае в Японии — поезжайте в дальнюю провинцию Кочи, на восточном берегу острова Шикоку. Там самая вкусная кацуо-татаки, прямо из моря и по вполне божеской цене — за два-три доллара порция в придорожной забегаловке или с видом на море. После этого негнущейся рукой отведет читатель

любое татаки, которое поднесут ему на Гинзе в Токио, хоть бы и за тройную цену — не годится оно, разве что стоит действительно миллион — а тогда, значит, привезли его из того же Кочи специальным самолетом. Если же вы попали на Хачиджоджиму в другое время года, то, может, получите еще и **сашими** — нарезанное сырое филе тунца с его багряно красным мясом и вкусом нежнейшего бифштекса. Его макают в блюдечко с соей и хреном, но и без этого свежее сашими прекрасно.

А теперь чашечку чаю — и хватит завтракать, пора погулять перед обедом.

Любят японцы поесть и понимают в этом толк. Все порции крохотные, но как их много! Впрочем, обжираться — это дурной тон. Не дай вам Бог, читатель, а тем паче читательница, накладывать себе в чашу рис горкой — из-за этого опротивела Ариваре Нарихире его жена, и он стал все чаще ходить к другой, а бедной обжоре-жене осталось только слать ему любовные послания вроде:

После стольких обманов и ожиданий
Я больше не верю тебе,
но люблю по-прежнему.

(Продолжение следует.)

И. Шамир — учился на физическом факультете Новосибирского университета, в 1969 г. уехал в Израиль; работал в израильском и западном русскоязычном радио, в 1977—79 гг. путешествовал (Азия, Океания, Австралия), в настоящее время живет в Иерусалиме и работает на радио; известен блестящими переводами произведений Агнона. Публикуемое произведение — часть большой книги очерков, подготавливаемой автором к печати.



Готовясь к предстоящему съезду демократической партии Америки, половину делегатов которого составляют женщины, Белый Дом опубликовал данные о стремительном росте числа женщин, занимающих высокие государственные посты. Так за последние два года 10 женщин были назначены послами США в разных странах, 19 — федеральными судьями, 98 получили ответственные должности в государственном аппарате.

“News week”

Нина Воронель

В ПРЕДДВЕРИИ

БАБЬЕГО ЦАРСТВА

Впервые о существовании Женского освободительного движения я узнала, увидев на улицах Нью-Йорка демонстрацию обездоленных мужей. Они так себя и называли — обездоленные мужья. Об этом кричали они в микрофон, об этом кричали их наивные, пестро раскрашенные плакаты и лозунги: “Верните нам наших жен!” — неизвестно к кому зывали они. “Женщины, ваше место на кухне” — написал один обездоленный муж на розовом картоне, прикрепленном к его шляпе, явно не сознавая, что таким лозунгом ему вряд ли удастся заманить на кухню непокорную жену. Одеты они были намеренно небрежно, даже неряшливо, чтобы вызвать жалость — об этом тоже были соответствующие плакаты, типа: “Женщины, посмотрите на нас — где ваше нежное сердце?”. Видно было, что они тщательно готовились к своему маскараду: опытный режиссер продумал заранее декорации и костюмы. Сценической площадкой для отчаянного парада обездоленных мужей была избрана ежегодная летняя художественная ярмарка, проходящая в центре Нью-Йорка, в квадрате, вырезанном между Четвертой и Шестой авеню улицами Сорок Восьмой и Пятьдесят Первой. Там перекрывают уличное движение и в узких,

всегда сумрачных ущельях между небоскребами выстраивают веселые ярмарочные столы, тесно уставленные всевозможными художественными поделками и старинной кухонной утварью, заваленные пестрым, давно вышедшим из употребления и потому ультрамодным тряпьем. Туда, конечно, стекаются тысячи женщин, чтобы купить, продать, а главное — порыться в этом многоцветном до ряби в глазах хламе, поглазеть на ветхие веера и шляпы, потрогать бока старинных звонких кувшинов, пузатыми громадами нависающих над субтильной угловатостью современной керамики. Этих-то, одурманенных ярмарочным весельем, опьяненных доступностью цен и разнообразием выбора женщин и желали подцепить на крючок жалости обездоленные мужья. Однако, не довольствуясь одними лишь жалобными призывами к сочувствию их бедственному положению, мужья эти не позабыли и о наказании виновных: яростно и однообразно посылали они проклятия лесбиянкам из Женского освободительного движения.

Потом мне довелось познакомиться с Женским движением гораздо ближе, ибо я прямо с корабля, что называется, попала на женский бал: мои пьесы принял к постановке театр, принадлежащий Женскому центру искусств. Центр этот представлял собой довольно забавное зрелище: четыре верхних этажа громоздкого сумрачного здания на Пятьдесят Второй улице были битком набиты женщинами. Но в отличие от ткачих Иваново-Вознесенска, обреченных на тоскливое безмужнее одиночество российскими неурядицами, эти женщины создали свое женское гнездо по собственной воле и для собственного самоутверждения. Театр занимал весь десятый этаж здания, прихватывая при этом и чердак. Помещение было просторное, без перегородок: там можно было по желанию выкроить сцену любой формы, пристроить к ней кулисы и гримерные, отгородить вокруг зрительный зал соответствующих очертаний, а на оставшемся пустыре расставить холщевые перегородки, разделив его на уютное фойе с буфетом и экспозицию картин очередной выставки. В театр снизу подвозил старинный медленный лифт — он долго тащился вверх, жалобно подвывая от напряжения, а иногда останавливался на полпути и, тяжело вздыхая, пугал пассажиров абсолютным нежеланием двигаться дальше. Перед тем, кто выходил на седьмом, восьмом и девятом этажах, открывался своеобразный человеческий улей, который, подобно улью пчелиному, был очищен от особей мужского пола: десятки женщин стучали на машинках, щелкали кинокамерами, мазали

краской холсты и разминали глину для скульптур. Всюду пестро полыхали афиши, заполненные рекламой женских спектаклей, женских журналов, женских лекций, среди афиш нестройным хором переливались женские голоса.

Должна честно признаться, что мне, с молодых ногтей предпочитавшей мужское общество, поначалу было как-то не по себе в этой специфически однополой атмосфере. Правда, мужчины все же допускались в театр на исполнение мужских ролей, но я, как назло, предложила для постановки "Матушку-барыню", пьесу сплошь женскую, и потому сама обрекла себя на почти монастырское существование. Впрочем, мои эмансипированные подруги ни на миг не позволяли себе забыть о существовании второй половины человечества, которую, хоть и не слишком высоко ценили, но воспринимали как сильного соперника. В этом смысле, мне кажется, освободительное движение еще далеко не достигло той свободы, которую поставило своей целью: чрезмерно озабоченное победой над миром мужчин, оно не способно быть от них независимым — не замечать, не придавать значения, жить своей жизнью.

В этом бабьем царстве, полностью рукотворном, я увидела некий социальный знак, некий сегодняшний "Мене, текел, фарес", к которому стоило приглядеться повнимательней. Вместе с "обездоленными мужьями" он предвещал перемены. И, несмотря на мой женский консерватизм, приучивший меня остерегаться любых перемен, я не могла им не радоваться. Ведь предки мои с незапамятных времен, встав поутру и закрутив тефиллин над кудрявыми пейсами, горячо благодарили Бога за то, что Он не создал их женщинами. Так положили они начало первому моему конфликту с Творцом: меня Он создал женщиной и благодарить Его мне было не за что. Хорошо наглотавшись всех положенных мне женских бед, стократно помноженных на беды специфически российские, я с радостью обнаружила споро пробивающиеся вокруг ростки нового общественного уклада.

Поверхностному наблюдателю может показаться, что миром нашим все еще правят мужчины: действительно, почти всякое заседание правительства, военной комиссии или совета директоров крупного концерна выглядит сегодня, как выставка галстуков и пиджаков. Но это обманчивое впечатление. Внимательный глаз уже сейчас может подметить убедительные приметы наступающего женского царства. Утверждая это, я чувствую себя Кассандрой, которой все равно никто не поверит. И потому по-

пытаюсь привести доказательства. Примеры, мной подмеченные и зарегистрированные, вполне интернациональны, но я начну с Америки, ибо там сегодня все происходит наиболее наглядно и стремительно.

Собирая факты, подтверждающие мои догадки, я старалась как можно органичнее погрузиться в американскую жизнь: подслушивая застольные разговоры, часами сидела в маленьких забегаловках, где подают неизменный гамбургер с кетчупом, омлет с сыром и тяжелые фаянсовые кружки с ужасающим бурым напитком, заменяющим американцам кофе; подолгу бродила среди диковинных бездельников, заполняющих площади и переулки Гринич-Виллидж; вместе с толпой актрис, режиссерш и театральных художниц после полночных репетиций часто ужинала в дешевых ресторанчиках, а главное — вечера напролет провела у телевизора.

Странно, что, ни по каким параметрам не попадая в графу "Искусство", американское телевидение может сравниться только с искусством по высокой обобщающей способности воплотить и сконцентрировать в себе наиболее характерный образ этой жизни, буквально надрывающейся под тяжким бременем избытка. Телевидение по природе своей демократично, оно давно оставило позади кино, газеты и книги — о театре и говорить не стоит; оно должно удовлетворить большинство, оно старается удовлетворить большинство, и оно удовлетворяет большинство, тем самым превращаясь в истинное зеркало демократического общества.

После невыносимой скуки советского псевдоголубого экрана, после напряженного драматизма израильского потока теленовостей, создающего вполне убедительное ощущение присутствия при наступающем конце времен, американское телевидение выглядит бессодержательным и отдохновенным. Оно засасывает и гипнотизирует, от него трудно оторваться, как от созерцания искр, танцующих над костром, или огня в камине. Каждые пятнадцать минут волнующий фильм прерывается рекламой: без всякого предупреждения кадры фильма сменяются рекламными кадрами — поначалу даже трудно понять, с чего это вдруг в самый опасный момент заклятые враги отбросили свое смертоносное оружие и, обнявшись, запели о преимуществах шампуня "Эра" или стирального порошка "Белоснежка". Но постепенно глаз начинает отличать мужественные лица отважных ковбоев

от мужественных лиц пропагандистов стирального порошка, он выделяет смелые черты привлекательной блондинки из полиции среди десятка не менее привлекательных блондинок, моющих волосы шампунем "Эра". Переход на другую программу ничего не меняет: там все то же — стремительная погоня по скоростному шоссе сменяется не менее стремительным автопробегом новой модели машины известной фирмы, столь же стремительно уступающим место нежно-округлой розовой попке, наглядно демонстрирующей достоинства наинovelейших пеленок на кнопках, выкроенных в форме бабочки.

Когда я с легкостью научилась отличать решительную героиню смертельно опасных гонок по шоссе от нежной матери, расстегивающей кнопки на крыльях пеленки-бабочки, я достигла нового этапа в восприятии телешоу: я стала различать, кому адресована та или иная телереклама. И с интересом обнаружила, что почти вся она обращена к женщине. Все это приводящее в замешательство разнообразие теней для век и карандашей для ресниц, все это море средств для ухода за кожей и волосами, вся эта армия порошков для стирки белья, чистки ванн и ароматизации унитазов, все эти умнейшие кухонные машины, все эти неисчислимые молочные и мясные полуфабрикаты по бросовым ценам рассчитаны на привлечение внимания покупательниц-женщин.

А что же для мужчин? — подумала я. — Может, автомобили?

И, проезжая по шоссе, я стала всматриваться в лица водителей идущих со мной бок о бок или спешащих мне навстречу машин. Но время было полуденное, и мужчины, по всей вероятности, пили кофе в своих банках и конторах, потому что за рулем сидели опять же в основном женщины. Похоже, все они как раз ехали за покупками в те магазины, которые вчера произвели наиболее благоприятное впечатление своей рекламой. И я отправилась в ближайший супермаркет — посмотреть, что там сегодня "дают".

Должна признаться, что хоть я уже более четырех лет живу за пределами Страны Советов, я все еще не могу преодолеть восторженного трепета, с которым связано у меня всегда посещение хорошего, большого супермаркета. Я часами, как замороженная, брожу по прохладным, обычно пустынным аллеям, до потолка заполненным развесным и расфасованным, нагим и затянутым в яркий пластик, консервированным, маринованным, засахаренным, сыро-и-дымно копченным, обезжиренным и обогащенным

витаминами А, В, С, Д, Е, РР и ФФ изобилием. Особенно впечатляют меня американские придорожные супермаркеты, одиноко вздымающиеся на скрещении больших шоссе — хайвеев, куда раз в неделю, а то и в две, приезжают окрестные хозяйки делать оптовые закупки. Залы таких супермаркетов обычно безлюдны и просторны, сподручней всего по ним бы ездить на велосипедах — там царит храмовая тишина, лишь изредка нарушаемая механическим голосом, сообщающим в мегафон номера поданных со стоянки к выходу машин. Мне, бедной Золушке, овладевшей за долгие годы советской жизни высоким искусством многократно перекраивать единственное платье, пока оно не дойдет до стадии купального костюма, до сих пор непонятно, как они — здешние — справляются с проблемой выбора. Что делать, если перед тобой разложены во всем великолепии десятки сортов говядины, сто два вида сыра и двадцать три типа простокваш? Как они решают, чем кормить мужа и детей, чем угощать гостей, чем подкрашивать глаза, чем смягчать кожу рук?

Я останавливаюсь перед журнальным стендом, ну и пестрота! Ну и выбор, в глазах рябит! Пять полок на добрых семь метров — от стены до стены. И ведь все в основном еженедельники — ну, как можно решить, какие из них читать? Красочные обложки уже с порога обещают научить меня наилучшим способом воспитывать детей, сохранять фигуру, возделывать сад и держать в повиновении мужа. Я не случайно назвала именно этот перечень журнальных анонсов: мое внимание сразу привлекли специфически женские журналы. Журнальный стенд, как и остальная зачаровывающая благодать супермаркета, рассчитан в первую очередь на женщин, и рассчитан агрессивно — захватить, заманить, выпотрошить кошелек! Около сотни названий распределялись примерно так:

25 для всех — политика, искусство, экономика, юмор; 20 — спорт (с детальными пояснениями, как ставить паруса и разбивать площадку для гольфа); 10 — специально для мужчин (с голыми девицами в разных позах); и наконец 35 — исключительно женских.

Обратите внимание: более чем треть — только для женщин!

Вот выборочный перечень названий: "Новая женщина", "День женщины", "Дамский круг", "Женский круг", "Хорошая хозяйка", "Образцовый сад", "Укрась свой дом". Это заголовки нейтральные, степенные, буржуазные, а вот и прямые призывы: "Купи

меня — не пожалеешь!”, “Истинные истории”, “Настоящая романтика”, “Откровенные признания”, “Увлекательные сплетни”. Сразу видно, что каждая группа журналов рассчитана на свой круг читательниц, об уровне которых можно судить по вынесенным на обложку заголовкам основных разделов и ударных статей. Серия наиболее дешевая и массовая пестрит грубой рекламой, рассчитанной на самую примитивную психику: “За четыре доллара 99 центов ты можешь попасть в круг избранных” (купи какой-то значок), “Все три с полтиной — и за лето твой бюст увеличится вдвое”, “Как ты можешь считать себя хорошенькой, если у тебя запоры?” (статья, рекламирующая слабительные). Набранные крупным шрифтом по яркому полю, рассыпаны вокруг отрывки из захватывающих рассказов, заполняющих страницы журнала: “Он убил моего мужа, а потом заставил меня полюбить его, убийцу!” “Я хочу рассказать, как развод сделал меня настоящей женщиной”, “Насильник две недели держал меня и мою мать в подвале нашего дома”. Для любознательных и жаждущих наставлений есть истории нравоучительные: “Я не могла больше слушать советы своей матери сохранять невинность до замужества, когда узнала, что она крутит роман с другом моего отца”, “Я была верна — и страдала, я завела себе друга — и теперь счастлива”. Все это — вперемешку с рецептами на все случаи жизни: как приготовить за десять минут обед на шесть персон, как элегантно и практично одеться на уик-энд, как стать моделью, как стать актрисой, как стать счастливой, как стать блондинкой, как сэкономить деньги, как сэкономить время, как ублажить мужа, как наказать мужа, как тридцатью хитрыми способами доказать ему свою любовь! И все это красочно, щедро, многословно. Журналы эти есть в любом супермаркете, в любом книжном магазине, в любом киоске. Их тиражи близки к космическим, они восхищают, пугают и завораживают: похоже, что некая мощная индустрия занята исключительно проблемами организации женского счастья и благополучия. Возникает ощущение, что женщина поистине становится хозяйкой цивилизованного мира, раз такая армия бизнесменов, изобретателей, рабочих, журналистов занимается организацией ее быта, ее очага, ее сексуальной жизни. И это понятно: кто платит, тот заказывает музыку, а именно женщина сегодня определяет структуру расходов семьи. Значит, ее и нужно ублажить.

Каждый торговец, каждый производитель товаров широкого

потребления рассчитывает сегодня на женщин, именно им старается угодить, их вкусы и потребности учитывает, их капризы и прихоти предвосхищает.

Интересно, как отражается этот рост влияния женщин на самом характере книжной индустрии Америки. Я не случайно назвала индустрией отрасль околотературной деятельности, связанной с книгопечатанием, ибо литературой ее продукцию назвать затруднительно, если не вообще невозможно. За последние годы миллионными тиражами начали выходить особого рода книги — написанные женщинами для женщин. Количество таких название увеличивается с каждым годом. И неудивительно: американский мужчина слишком занят заработком и карьерой, ему не до чтения. Один высокопоставленный ученый с завидной непосредственностью сказал мне: “Я книг не читаю, у нас книги читает жена”. И, поскольку ситуация эта не оригинальна, современная книжная индустрия ориентируется именно на такую, раскрепощенную легкостью сегодняшнего быта, “читающую” жену. Я хочу подчеркнуть — не на амбициозную эмансипированную феминистку, мечтающую победить и вытеснить с общественной арены слабый, то есть мужской, пол, а на верную, добропорядочную жену, хорошую мать, образцовую хозяйку, ибо именно она платит за бесчисленные, трогательно похожие друг на друга пестрые книжки в мягких обложках, заполняющие книжные стеллы любого супермаркета, аптечного магазина, газетного киоска.

Образцовая эта мать и отличная хозяйка, накормив завтраком мужа, отправив в школу подростков детей и быстро приведя в порядок свой налаженный дом и сад, окруженный аккуратно подстриженной живой изгородью вдоль нежно-зеленого, педантично скошенного газона с яркими пятнами цветочных клумб, берется за книгу — в поисках того, чего ей не хватает в жизни. Казалось бы, не хватает ей только разве птичьего молока, но такова уж человеческая природа, что женщина, пресыщенная благополучием и надежностью своего существования, жаждет сильных страстей и острых ощущений. И в угоду этой ее жажде все книги “женской” полки скроены по одному образцу. Все они рассказывают историю Великой Любви. Такой великой и истинной, какой в реальной жизни и быть не может, и притом остро приправленной удивительными событиями и приключениями, в ходе которых добродетельной и страстно любящей истинного избранника героине то и дело приходится нарушать свою верность этой истин-

ной любви по вполне уважительным причинам. Но нарушая верность своему единственному возлюбленному, героиня глубоко страдает, что лишь усиливает радости измены, тем более что исключительные обстоятельства каждый раз убеждают ее в силе собственной любви и непорочности собственных чувств.

Обстановка и декорации таких романов могут варьироваться бесконечно: это может быть окутанный таинственными чарами загородный дом знаменитого живописца, как в романах Филлис Уитни, или заброшенная пивоварня в центре средневекового Лондона, попеременно с дворцами лордов, канцлеров и королей, как у Жаннет Сеймур, или современный интерьер, щедро оснащенный достоверными подробностями из жизни звезд Голливуда и Бродвея, как у Жаклин Сьюзанн. Сути дела это не меняет. Героиня таких книг всегда прекрасна, бесконечно женственна и щедра; герой отважен, бесконечно мужествен и горд; злодей бесконечно коварен и неутомим; благородный друг бесконечно благороден; любовь героев бесконечна и глубока и, преодолев все препятствия, приводит их к счастливому концу.

Пережив все ужасы и восторги измен, насилий и потерь, обретя в конце счастье с любимым и единственным, образцовая хозяйка и верная жена закрывает книгу: скоро муж вернется с работы, пора накрывать на стол, пора возвращаться к монотонному распорядку обыденной жизни. После головокружительных бездн прочитанного этот распорядок уже не кажется столь невыносимо скучным, он уже вновь дорог ее сердцу. И она готова щедро платить за свое без излишнего риска обретенное душевное равновесие, одновременно поддерживая тем самым мощную книжную индустрию.

Другое веское доказательство постепенного перехода к "бабьему засилью" — это перемены, произошедшие за последние годы в иной, куда более могущественной индустрии — в Его Величестве Кино. На наших глазах экран буквально наводнили фильмы нового типа — фильмы о женщинах, для женщин и, все чаще, сделанные женщинами. Впрочем, мужчины-режиссеры тоже все чаще оказываются в плену этого стремительно возрастающего влияния женского вкуса и женских запросов. В новой "женской" форме массового кинопродукта изменились все составные части: характер проблем, способ и настрой их решения и даже внешний облик героев: если в картинах прошлых лет обязательным условием была исключительная красота и сексуальная привлекатель-

ность героини, то сегодня она — лишь симпатичная, заурядная женщина, такая, как сотни тысяч других.

Мне думается, что причина этого явления неразрывно связана с необходимостью завлечь именно женскую аудиторию, для которой красота не может служить приманкой. Наоборот, именно сопереживание с женщиной **обычной** делает картину исключительно увлекательной и доходчивой — каждая зрительница понимает, что это рассказ о ней самой. А ведь нет для человека ничего более интересного и захватывающего, чем рассказ о нем самом. Каждый хочет видеть себя, говорить о себе, обсуждать свои беды и радости. И вот армии женщин заполняют кинотеатры, жадно поглощая истории о зыбкости женского счастья, о невыносимой незащищенности женщины в жестоком сегодняшнем мире, где ослабевшие подпорки морали не могут сдерживать разрушительных порывов низменных страстей. Ах, как страшно: нет больше Бога, нет любви, нет семьи! Куда же деться бедной одинокой женщине, которой не на кого опереться, некому довериться? И она переживает свои драмы, сидя в мягком кресле затемненного зрительного зала — пусть со слезами и замиранием сердца, но зато без всякого риска. Там, где есть массовый спрос, есть и массовое предложение.словно из рога изобилия начинают сыпаться фильмы на одну и ту же тему. Вдруг обнаруживается, что мир полон мужчин-режиссеров, нежно сочувствующих, трогательно разделяющих женские тревоги. Даже стиль у этих режиссеров непривычно женственный: их ленты напоминают искусные вышивки, так скрупулезно точны они в бытовых подробностях и в психологической детализации женской жизни. В 1976 г. получает Оскара фильм Нейла Саймонса “Девушка для разлук”, где все симпатии режиссера отданы слабому партнеру, то есть героине. В 1977 году испанский режиссер Карлос Саура получает приз Каннского фестиваля за картину “Крик вороны”, где достигает особого эмоционального сплава страстей, разворачивая трагическую историю матери, как бы увиденную глазами восьмилетней дочери; в этой картине, помимо совершенного слияния замысла и формального его воплощения, поражает почти физически ощутимое перевоплощение режиссера в женщину: он не просто рассказывает о превратностях женской судьбы — он заставляет нас поверить, что для него, Карлоса Сауры, нет ничего на свете важнее. В 1978-м до финальной жеребьевки на премию Оскар доходит картина Поля Мазурского “Незамужняя женщина” — изысканная акварельная лента о жен-

ском одиночестве, героиня которой неприкаянно бродит по богемному Нью-Йорку в поисках утешения и собственного Я. И хотя из сюжета не вполне ясно, удастся ли ей найти это Я, но вполне очевидно, что утешение она находит только во встречах со своими школьными подругами.

Вот тут-то и наступает переломный момент, знаменующий собой поворотную точку в искусстве, посвященном женским проблемам. Если "Девушка для разлук" представлялась режиссеру существом слабым, безответным и заслуживающим любви, то при этом подразумевалось, что любовь есть некая ценность, а носитель ее — мужчина — может по своему желанию осчастливить женщину, подарив ей эту ценность от своих щедрот. Аналогично, брутальный герой Карлоса Сауры, хотя и бессердечный и причиняющий женщине смертельную боль, все еще остается ее неотразимым богом и кумиром. Но вот, начиная с картины чуткого Поля Мазурского, эта трактовка роли мужчины в женской жизни неожиданно и резко меняется. Происходит изменение критериев женского счастья, переоценка ценностей, в результате которой мужчина как партнер вдруг предстает изрядно уцененным, а то и вовсе подлежащим списанию за полной непригодностью. Эта радикальная переоценка и переориентация произошла с головокружительной быстротой и повсеместно, сразу во всех областях культурной и околокультурной жизни Запада.

Чтобы легче проследить, как изменялась относительная ценность каждого ингредиента женского счастья, попробуем сделать инвентарную опись этих ингредиентов. В любом сюжете можно выделить такие основные составляющие: 1. Мужчина (герой); 1а. Другие мужчины; 2. Женщина (героиня); 2а. Другие женщины; 3. Роль 1 в судьбе 2; 4. Отношение 2 к 1а; 5. Отношение 2 к 2а; и, подведя черту, получаем 6. Чем сердце успокоится.

Самый распространенный прежде вариант сюжета был, так сказать, "патриархальным": 1 прекрасен, как бог, но жесток; 2 прекрасна и нежна; преданный 1а безответно любит 2; зато легкомысленные 2а всячески сбивают 1 с истинного пути; в результате 3 превращается в трагедию; 4 — в искреннюю признательность; 5 — во взаимную вражду и презрение; наконец, 6 — во вспышку великой любви между 1 и 2, трактуемую, как жест истинного великодушия со стороны богоподобного 1.

Другим вариантом той же схемы является сюжет с печальным концом: 1 не снисходит к 2, и та умирает с разбитым сердцем, не удостоенная его милостью.

В любом случае 1 остается хозяином ситуации.

Постепенно патриархальный вариант сменяется вариантом промежуточным: 1 жесток, но уже ничем не напоминает бога; 2 не так уж и прекрасна, но все еще нежна и способна любить; 1а всегда под рукой, иногда уже не один, а числом от двух до пяти (впрочем, всегда не стоящих ломаного гроша); 2а порой коварны, но в основном умны, независимы и способны к истинной дружбе; 3 причиняет страдания, но не становится роковым; 4 служит источником дополнительного утешения, но не задевает сердца; 5 превращается в теплый очаг, возле которого можно всегда отогреть душу; 6 исчезает вовсе, ибо сердце не может успокоиться ничем.

Таким образом, отношения с 1, оставаясь существенными для осознания 2 самой себя, как личности, уже ни в какой мере не определяют ее судьбу.

Зато судьба 1 предрешена: его роль становится все более второстепенной; он бывает порой мил, порой несносен, но его, так и быть, пока что сохраняют "для сюжета" — при условии, что он будет знать свое место и не очень заноситься.

Так готовится торжество самого модного сегодня, феминистского варианта: 1 так ничтожен, что гордая и независимая 2 может время от времени приближать его к себе (не слишком выделяя, впрочем, в толпе многочисленных 1а) и тут же отлучать; нужен он, собственно, лишь для того, чтобы 3 превратилось в наглядное свидетельство его низости и недоброкачественности, тогда как 5 вырастает до масштабов глубокой привязанности и полного взаимопонимания, почти не омрачаемого недостойной возней в 3 и 4. Отсюда уже не трудно догадаться, что 6 становится апофеозом взаимного чувства между 2 и 2а. Прежние герои, 1 и 1а, в этом деле никакой роли не играют и при случае от них желательно избавиться вообще, чтобы не мельтешили перед глазами.

Героиня Поля Мазурского, разочаровавшись в муже и любви, пытается наладить свою жизнь, вводя в нее других мужчин, но все они быстро надоедают ей, ибо ничуть не лучше ее бывшего мужа. И только верные подруги никогда ее не подводят, не обманывают, не разочаровывают. Фильм можно было бы назвать

“Их было четверо” — потому что их было четверо, и со школьных лет они собирались каждую неделю, чтобы поделиться горестями и радостями. Все было преходящим и зыбким — мужья, любовники, возлюбленные; семьи возникали и распадались, любовные интриги вспыхивали и гасли, и только верная женская дружба оставалась надежной и неизменной, несмотря ни на что.

Между подругами нет ни открытой вражды, ни скрытого соперничества. Что им делить? Их дружбу окутывает легкая дымка печали, и, нежно глядя друг на друга, они с горькой улыбкой еще и еще раз говорят о том, как слабы и ничтожны их мужчины.

Осознание неполноценности мужчин совершенно естественно требует суровых выводов и дальнейшего развития темы. И вот, расталкивая и оттесняя женоподобных режиссеров-мужчин, неуверенно колеблющихся между вариантами “патриархальным” и “промежуточным”, за дело берутся режиссеры-женщины, решительно подводя человечество к варианту “феминистскому”. Поначалу это всего лишь усиление темы женской дружбы без целенаправленных оргвыводов — так, в картине американки Клаудии Вайль “Подруги”, рассказывающей историю молоденькой, одинокой, не слишком красивой и не слишком удачливой нью-йоркской девушки-фотографа, еще нет резкого противопоставления женского мира мужскому. Но зародыш этого противопоставления уже просматривается в финальной сцене. Отмахнувшись от черствых, бездушных и скучных мужей и возлюбленных, две подруги наслаждаются идиллией потерянной было и вновь обретенной дружбы. За окном снег, мрак и холодный ветер, где-то далеко — суэта столичной жизни, а здесь, в маленьком загородном домике, весело горит огонь в камине, освещая счастливые лица подруг и их влажные от счастья глаза. Сцена эта, несомненно, наводит зрительниц на сомнения в полноценности мужчин и такой уж значительной их роли в женской жизни, но пока еще никаких крайних мер по отношению к этим эмоциональным калекам не предлагает.

Следующий шаг по этому пути делает Жюли Дассэн в картине с пугающим заголовком “Дрим оф пэшн”, что в переводе означает то ли “Страстную мечту”, то ли “Мечту о страсти”, — как ни верти, выходит одинаково безвкусно. Греческая актриса Майя возвращается в Грецию, чтобы сыграть роль Медеи в одноименной трагедии Эврипида. Как известно, Медея, покинутая неверным мужем, в отместку ему убила их общих детей. Майя узна-

ет, что в одной из греческих тюрем отбывает пожизненное заключение американка, совершившая то же самое преступление по тем же мотивам. Желая глубже проникнуть в характер своей героини, Майя добивается разрешения регулярно посещать свою Медею в тюрьме, и между женщинами вспыхивает особая, возвышенно драматическая дружба-любовь. Их взаимопонимание и взаимопроникновение в сокровенные тайны полностью затмевает память о неверном возлюбленном, ибо общение с ним никогда не давало и намека на подобную радость. Проникшись чувствами и мыслями подруги, Майя с поражающим правдоподобием и убедительностью воспроизводит на сцене трагическое преступление Медеи, заставляя все сердца раскрыться ей навстречу. Здесь уже недвусмысленно прочитывается прямой призыв: "Женщины! Плюньте на мужчин — они вас недостойны. Они неспособны любить и не стоят вашей любви. Любите друг друга — это ваш единственный путь к счастью".

И уже без всяких художественных намеков и недомолвок разоблачает слабую и мелочную, но считающую себя сильной, половину человечества француженка Аньес Варда в картине "Одна поет, другая нет". Картина эта, по манере документально плакатная, по замыслу — прямолинейно феминистская, заставила меня вспомнить царство Леса, остроумно нарисованное братьями Стругацкими в романе "Улитка на склоне", где женщины, научившись размножаться почкованием, попросту уничтожают бесполезных паразитов мужчин. Героини фильма Аньес Варда сохраняют жизнь никуда не годным представителям презренного пола только потому, что размножаться почкованием они еще не научились.

Нельзя, правда, сказать, чтобы идея продолжения рода неустанно мучала их, лишая сна, — отнюдь нет. Основное время они проводят в демонстрациях за женские права, в борьбе за разрешение абортов, в консультациях по сокращению рождаемости и в прочих подобных забавах, так что надежда на избавление от мужской тирании вполне реалистична даже и без почкования. Но пока суд да дело, забеременев, они немедленно пинком вышвыривают за порог своих незадачливых партнеров, обращаясь сердцем к единственной ценности — к истинной женской дружбе.

Художественные средства Аньес Варда полностью соответствуют жесткости и бессердечности ее концепций: не пытаюсь создать видимость жизнеподобия, она открыто обращается к плакатному призыву и декламации. По накалу этих призывов, по тону

этих декламаций, можно было бы подумать, что сама Аньес Варда — дочерна высушенная старая дева, ожесточенная климаксом и неудачами в личной жизни. Ничуть не бывало! Я выяснила, что никакого влияния на ее личную судьбу ее крайние взгляды не оказывают: она довольно молода, хороша собой, счастлива в семейной жизни. Правда, однажды, будучи беременной и даже на сносях, она участвовала в очередной женской демонстрации против запрещения абортот и так разбушевалась, что ее втиснули в полицейскую машину и увезли в участок. Но, произведя на свет этого, уже до рождения вовлеченного в политические страсти, младенца, она продолжает мирно жить в своем семейном гнезде, нисколько не пытаясь осуществить на практике свои крайние идеалы. Видно, просто такой нынче ветер дует, что трудно удержаться на умеренных позициях: всеобщая демократизация захватила и женщин.

Если раньше само собой разумелось, что счастье отдельного индивидуума — не так уж важно по сравнению с благородной задачей продолжения рода, то теперь, когда нас стало слишком много, на поверхность выскочило сомнение: а так ли это важно продолжать род? Теперь каждый хочет личного и немедленного удовлетворения — не на том свете и не в грядущих поколениях, а сейчас, сегодня и без обмана.

Любопытно, однако, что "бабий бунт" в основе своей консервативен. И все эти женщины, толпы валящие на феминистские фильмы и массажи глотающие "женские" романы, отнюдь не являются заядлыми феминистками. Напротив, большинство из них склонно к сугубо консервативному, веками испытанному способу удовлетворения своих потребностей. Интересное свидетельство этого — результат опроса, проведенного женским журналом "Редбук" в июне 1979 года.

Вопросник, разосланный читательницам и посвященный исследованию того, что они считают важнейшими жизненными ценностями, состоял из 800 (!) вопросов и требовал от отвечающих изрядного напряжения, способности к самоанализу и высокой честности с собой. Горячая заинтересованность женщин в этом обсуждении удивила даже самих исследователей. Но еще больше поразили их результаты. Из предложенного им списка ценностей: удобная жизнь, чувство самореализации, равенство, прочность семьи, свобода, чувство внутреннего удовлетворения и согласия с собой, духовное развитие, самоуважение, настоящая дружба, разнообра-

зие впечатлений, чувственные радости и так далее — наибольшее количество баллов получили такие вещи, как прочность семьи, зрелая любовь и согласие с собой. А кривая положительных ответов на вопрос “Счастливы ли вы?” оказалась повышающейся с возрастом: если, начиная с 22-х лет, женщины чувствуют себя все более несчастными и доходят до глубин отчаяния в интервале от 46 до 52-х, то после 55-ти они начинают стремительно возноситься к вершинам счастья. Журнал следующим образом комментировал эту кривую: “Все растущее с возрастом ощущение независимости и уверенности в себе удивляет многих молодых женщин. Этот всплеск на завершающей фазе женской жизни убедительно показывает, что женщине никогда не поздно найти себя”.

Здесь и обнаруживается общий знаменатель. Ибо сам собой напрашивается вывод, что главное — это возрастающая независимость и уверенность в себе, жестко связанные с освобождением от мужских притязаний. Так, под неослабевающее мурлыканье о прелестях женской дружбы и независимого женского существования “Редбук” с неотступной последовательностью ведет своих читательниц к феминистскому сценарию жизни, о котором я писала выше. А поскольку журнал этот рассчитан на читательниц интеллигентных и, как показал вопросник, склонных к консервативному устройству своей судьбы, то обращается он к ним соответствующим образом: “Вы впечатляюще образованы и достигли успеха в своей карьере. Большинство из вас составляют жены, работающие вне дома и не занятые полный день домашним хозяйством. Ваш образовательный уровень в три раза выше образовательного уровня средней американки. Три четверти из вас получили высшее образование, но, несмотря на это, вам возмутительно недоплачивают. Но, хоть вы незаслуженно обижены в оплате вашего высококвалифицированного труда, вы щедро вознаграждены в любви: каждые 80 из 100 нежно любимы, две трети удовлетворены характером отношений с любимым и столько же довольны своей сексуальной жизнью”.

В этом хитроумном описании есть все, что положено: и необходимая доза лести, и тонкий призыв к бунту (недоплачивают — что может быть хуже?!), и пропаганда идеи о том, что независимая женщина выигрывает и в любви, и в сексуальном общении. Но интересней другое. Журналы такого типа пользуются огромной популярностью и имеют высочайшие тиражи, и это отражает общественную реальность: резкое увеличение числа образован-

ных, самостоятельных женщин во всех областях жизни. И если раньше речь шла о том, что женщины захватывают рынки сбыта массовых товаров широкого потребления, то теперь мы видим, что они начинают не менее массово проникать в сферы производственные. Судя по сообщениям периодической печати, в молодом поколении есть большой процент деловых, прекрасно образованных женщин на ролях администраторов, младших управляющих, профессиональных советников. А это значит, что лет через двадцать, а то и раньше, значительная их часть придет к руководящим постам.

Я еще раз подчеркиваю, что вижу основную общественную тенденцию именно в массовости этих процессов: ведь выдающиеся женщины во все времена умудрялись достичь исключительного положения в обществе. Но теперь стремление догнать, даже опередить, а подчас и вытеснить мужчин стало целью не только выдающихся, а целой армии женщин — способных, умных, активных, для которых раньше многие двери были закрыты.

Эти процессы тесным образом связаны со стремлением к самоанализу, самопознанию, самоутверждению. И искусство, не менее чуткое к общественным запросам, чем рынок, немедленно отзывается во всем своем дозволенном и недозволенном разнообразии. Не только американское или французское кино предлагает сегодня женщинам покончить с мужским господством, но и у нас, в Израиле, несмотря на цензурные ограничения, одновременно с "Подругами" и "Одна поет" выходит на экраны картина двадцатипятилетней Михаль Бат-Адам "Мгновения", в которой в центре внимания опять оказывается переоценка роли мужчины в женской жизни.

Израильтянка Йола и француженка Анна встречаются по пути в Иерусалим, куда Йола едет, чтобы завершить работу над книгой. (В точности в соответствии со схемой: 2 — независимая, творческая личность.) Между девушками вспыхивает острая непреодолимая любовь, по сути своей высокодуховная, но не лишенная и физического влечения. В этом сильном взаимном чувстве есть все элементы истинной любви: постоянное стремление быть вместе, глубокий интерес к переживаниям подруги и ревность. Никакого очевидного драматического развития событий нет, есть только мелкие нюансы, приливы и отливы, всплески ревности и страсти, характеризующие любую любовную интригу. Но в нарушение обычного хода вещей героиня фильма не прекра-

щает романа и со своим другом, а впоследствии мужем Ави, хоть пытается вовлечь и Анну в этот роман и превратить его в любовь втроем. Однако ни Анна, ни Ави не склонны принять предложение Йолы, и ей приходится выбирать. Подруги расстаются, горько сетуя на жестокость жизни, их любовь только усиливается от разлуки, они пишут друг другу ежедневно и живут от письма до письма. Последующая их встреча через пять лет, когда Йола уже замужем за Ави и имеет трехлетнего сына, в очередной раз доказывает им невозможность их высокой любви в условиях реальной сегодняшней жизни. Они расстаются вновь, глубоко раненные невозможностью быть вместе.

Фильм этот напоминает изящную музыкальную пьесу или стихотворение. Это камерное произведение, полное очарования и скуки, на заднем плане которого все время живет поэтический и возвышенный образ сказочного Иерусалима. Фильм явно ни в какой мере не рассчитан на успех у широкой публики, что сразу расширяет его художественные возможности.

Впрочем, сегодня, когда общество непрерывно раскачивается под неожиданными ударами, спонтанно возникающих из небытия до того неизвестных, но мощных стихийных сил, ничего нельзя сказать заранее даже о перспективах успеха у широкой публики. Ведь вот ни один продюсер не хотел вкладывать деньги в производство фильма Клаудии Вайль, настолько им всем было "очевидно", что никакого коммерческого успеха ожидать на этой теме не приходится. И фильм был сделан на собранные режиссером по копейке гранты и пожертвования, без участия звезд и без всякой надежды на кассовый успех. А в результате вот уже два года фильм этот не сходит с экранов всех крупных городов мира. Оказалось, что "Подруги" попали прямо в "яблочко", в одну из самых болевых точек сегодняшнего общественного интереса.

И это не единственный случай. То же самое случилось в 1976 году, но уже не с фильмом, а с книгой. Речь идет о романе Эрики Йонг "Страх полета". Сюжет его можно пересказать буквально одной фразой: молодая поэтесса, жена врача-психоаналитика, во время поездки с мужем на международный конгресс, влюбляется в одного из его коллег и уезжает с ним в двухнедельное путешествие по Европе, после чего любовник бросает ее и она возвращается к мужу. Казалось бы, ничего нового и свежего такой сюжет уже не может предложить пресыщенному миру двадцатого века. Однако роман Эрики Йонг выдержал за прошедшие

три-четыре года бесчисленное количество переизданий, он был переведен на все языки мира (кроме русского), и тираж его перевалил за десяток миллионов.

В чем же секрет этих потрясающих и неожиданных успехов?

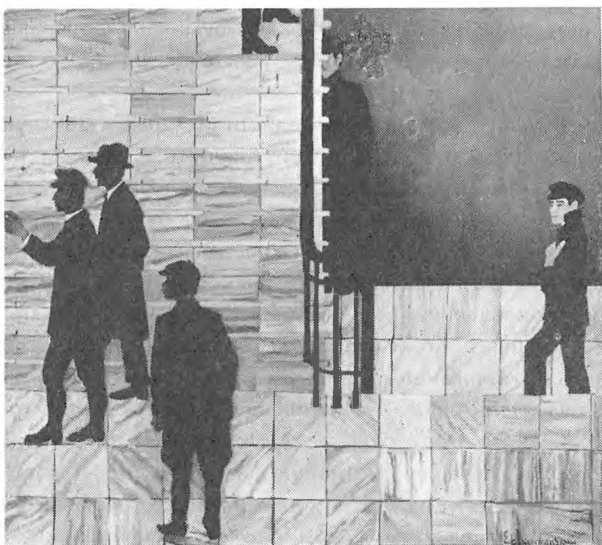
Дело в том, что, рассказывая свою нехитрую историю от первого лица и даже не пытаясь замаскироваться под вымышленным именем, Эрика Йонг сосредоточилась не столько на вполне банальных событиях своего недолгого романа, сколько на неправдоподобно искренней, порой даже чудовищно откровенной исповеди. Женщина несомненно литературно одаренная, она сумела без стыда рассказать о мельчайших деталях своих переживаний, начиная с раннего детства, причем главное внимание уделила при этом не описанию душевных состояний в общепринятом смысле — “сердце, душа, томления, волнения, переживания” — нет, она смело взяла быка за рога и, как бы сняв с себя кожу, предстала перед читателями не просто нагая, но словно просвеченная рентгеновскими лучами. Все свои душевные движения она неразрывно увязывает со своими сексуальными и эротическими проблемами, не стыдясь рассказывать о самом интимном и не боясь называть вещи своими именами. Я хочу подчеркнуть, что дело не в бесстыдстве описаний любовных и чувственных сцен — в этом мире, наводненном порнографией, бесстыдством уже никого не удивишь. Главная заслуга Эрики Йонг в том, что она сумела с удивительным литературным тактом назвать и обозначить тончайшие психологические оттенки того, что происходит в женской душе. Она сумела рассказать о женских проблемах с такой подкупающей точностью и убедительностью, что миллионы женщин во всех странах мира признали эти проблемы своими. Они узнали в героине романа “Страх полета” себя, — узнали свои страхи и сомнения, свои грехи и свои искушения, свои бездны и свои взлеты. Они узнали в этой запутавшейся в своих чувствах девочке — себя, Женщину в собирательном смысле этого слова, и приняли ее такой, как она есть.

Вдруг оказалось, что наша многовековая культура, посвящавшая лучшие силы и воспарения духа проблемам Любви с большой буквы, никогда не интересовалась **женской долей** в этом общем деле. Оказалось, что женская сторона вопроса никогда по сути не освещалась, ее обычно подменяли отношением мужчины к женщине. И никого не интересовала женщина как личность, а не как объект мужского поклонения и мужского наслаждения. Я с удовольствием должна отметить, что, несмотря на грандиозный успех

романа Эрики Йонг, еще ни разу не встретила **мужчину**, которому бы этот роман понравился. И это понятно: "повелителю" неприятно узнать, что существо, предназначенное по определению служить ему отрадой и удовольствием, вдруг обнаруживает свои собственные вкусы и пристрастия, да еще осмеливается судить о недостатках повелителя и заявлять свои претензии. Удовольствие же мое относится к тому факту, что мужское неодобрение нисколько не помешало успеху романа.

Это значит, что и впрямь наступают новые времена, и впрямь приближается эпоха бабьего царства. Не знаю, хорошо это или плохо, но одно знаю наверняка: мужчины уже точно доказали, что без нас не могут справиться с грандиозными трудностями нашего времени. Может, им окажется кстати наше участие — на равных?..

Н. Воронель — поэтесса, переводчик и драматург, автор книг "Папоротник" и "Прах и пепел", а также ряда других произведений, публиковавшихся в израильской и западной печати; ее пьесы ставились на нью-йоркской и израильской сцене и экранизировались израильским телевидением. В Израиле с 1974 г.



Е. Ладыженский. "Ночной налет. "Здесь живут буржуи".

Иосиф Лещинский

МЕМОАРЫ ЕФИМА ЛАДЫЖЕНСКОГО

Вероятно, на выставке Ефима Ладыженского в Музее Израиля многие зрители испытывают прямо противоположные чувства, притом чувства, лишь косвенно относящиеся к самим картинам художника.

Одни вздыхают с облегчением при виде этих столь ясных и понятных произведений. Нарисованные люди — люди, собака — собака. Если уж картина называется "Свадьба", то нет сомнений — это свадьба, а не похороны. (Есть на выставке и очень красивые "Похороны".) Словом, зритель уверен, что его не дурачат.

Другие, боюсь, смущены: не совершают ли они непозволительную уступку живописному консерватизму? Были бы эти полотна написаны в 10-е или 20-е годы — ну куда ни шло. Но ведь мы уже в конце 70-х, а живой и, слава Богу, бодрый автор ходит между

нами и, кажется, продолжает работать в той же манере. И ведь всего лишь этажом выше в это же время выставлены огромные панно Сэма Фрэнсиса в стиле сугубого абстрактного экспрессионизма...

Признаюсь, и те, и другие радости и страхи мне чужды. Мне чужды пренебрежение и подозрительность к самым модернистским явлениям современного искусства. Пренебрежение, которое в его крайней форме выражается во фразе: "Да так и я бы мог нарисовать!" Когда я вижу геометрические композиции Мондриана или красочные фейерверки Джексона Поллака, я знаю точно: я таких произведений, к великому сожалению, создать не могу.

Еще меньше я понимаю страх оказаться в консерваторах и выглядеть приверженцем устарелого реализма. В живописи XX века как раз очень сильно направление, которое стремится не только сохранить за произведением изобразительного искусства общефилософскую и декоративную ценность, но и рассматривает картину как сцену из жизни, как историю, рассказ, хотя очень часто — и как фантастический рассказ. Кафкианские ужасы — одна из самых модных тем современной живописи. (И в этой сфере наблюдается — не к ночи будь помянута! — инфляция.)

Но вернемся на выставку Ладыженского. Картины его (о них хочется говорить сразу обо всех) принадлежат к жанру мемуаров, или даже точнее — рассказов о детстве. Как известно, обычно эти произведения создаются не молодыми писателями или живописцами, а уже под старость, когда внушительное число лет отделяет автора от его былого. Тогда к ним добавляются еще и "думы".

Одесса 20-х годов — город юности Ефима Ладыженского — живет на его полотнах. Странное дело — эти 20-е годы сегодня тоже становятся "добрым старым временем". Ирония превращается в элегию. Так читаем мы главы о Черноморске из "Золотого тельца" Ильфа и Петрова. Так, кстати, и поставил свою экранизацию по этой книге Владимир Швейцер, пригласив на роль Остапа Бендера тонкого, артистичного, с грустными глазами Юрского.

Это "Боже, что за время было!" звучит и с картин Ладыженского. Образ жизни за минувшие 50 лет изменился столь радикально, что нелегко представить себе, как это уместается в пределах краткого людского века. Катастрофические события нашего столетия и, в каком-то смысле, не менее жестокий к человеку технический прогресс придают самым простым воспоминаниям несравненную

ценность. Ценность того, что сохранено в слове, на холсте или бумаге, на фотографии или киноленте, в наше время особенно бесспорна.

Душевная широта живописи Ладыженского выражается в его равном внимании к значительному и мелкому. Тут есть и какой-то вызов той жестокой иерархии ценностей, которую установил современный мир, а тоталитарные системы довели до предела.

В "Свадьбе" художник с одинаковым уважением пишет разодетых в пух и прах гостей, жениха, невесту, музыкантов. И не только люди, но и блюда на столе, серый ствол каштана, белые "свечи" соцветий каштана — все это обработано кистью крепко и доброту. Ни один предмет не обижен, каждому дано свое. Надписи составляют неотделимую часть этого плотно набитого людьми и предметами мира. Мы можем прочесть имена одесских лавочников и названия пароходов. И я дорого дал бы, чтобы узнать, что случилось далее с владельцем магазина И. Л. Коганом и где плавает сейчас "Чичерин". Это не столь уж странное желание, ибо живопись Ладыженского по природе своей документальна. Скажем, в композицию могли бы быть включены (по смыслу, а не стилистически) текстовые объявления или подлинные фотографии.

Этот взгляд ребенка, вспоминающего детство, и одновременно историка-архивиста заставил художника отказаться от одного из главных орудий организации мира в классической живописи — от перспективы.

Пространство не уходит вдаль от зрителя и предметы не уменьшаются с удалением. Они разложены по плоскости холста красиво и просто, как на витрине. Пространство выгнуто так, чтобы зрителю было удобно рассматривать его. В картине "Арбузная пристань" мы видим сам причал и горы арбузов примерно с точки зрения стоящего на этом же причале человека, но дальше плоскость переламывается, и шаланды с арбузами показаны сверху, чтобы можно было лучше оценить арбузы — их цвет, величину, красоту.

В композиции "Улица моего детства" брусчатка мостовой видна сверху, но дома по обе стороны улицы видны не под углом, а прямо, в лоб, как бы лежащие в одной плоскости с землей. Прием этот выполняется с такой естественностью и внутренней необходимостью, что его почти не замечаешь.

Но отказ от глубины пространства воспринимается и как прием смысловой. Пространственные планы, прижатые к плоскости холста, не позволяют зрителю общаться с тем, что происходит по

ту сторону от картины. То, что там, — уже не с нами, а в каком-то ином, далеком от нас мире. Линия, отделяющая нас от них -- своего рода сценическая рамка, — очень четка, и мы не можем общаться с тем, кто находится за ней. Мы зрители, а не участники этих свадеб, похорон и торжищ, хотя именно такое участие, казалось бы, совершенно естественным.

Момент этот очень драматичен. Нам не дано уже в белых теннисках и белых чесучевых брюках сидеть под полосатым тентом кафе, не дано мчаться по бульвару в пролетке лихача, объедаться сверх меры и надобности на чьей-то свадьбе, смотреть с восторгом и ужасом на запряженных в катафалк лошадей под белыми сетчатыми покрывалами и на покойницу в белых туфельках в открытом гробу, не дано слушать уханье духового оркестра, надрывающего душу шопеновским маршем. И мальчиком, который стоит там среди зрителей, конечно мог бы быть и я, но встретиться с ним я уже никогда не смогу.

Мир Ладыженского очень красив. Светлые, прозрачные тона летней толпы, мягкий серый тон булыжной мостовой, густая зелень арбузов, благородная синева моря.

Чуть-чуть притворяясь ребенком, художник любит симметрию. Радиусами расходятся веревки с висящим бельем в садике какого-то дома. Свадебные столы правильно вписаны в раму картины.

И все-таки веселая и беззаботная Одесса не так уж весела, когда присмотришься к ней попристальнойней.

Как часты у Ладыженского серые зимние дни с тусклым светом, влажным воздухом и тающим снегом, как печальны одинокие извозчики, которым не дождаться седока. Десять евреев еще стоят в синагоге — старики, одноногий инвалид. Пока еще есть миньян, но где возьмут они десятого, когда один из них умрет?..

Смерть — частый мотив этих полотен.

Пилят на бульваре стволы крепких и толстых деревьев. Живодер ухватил дворняжку своей проволочной петлей, и ей уж не уйти.

С жестокой отвагой художник упоминает и о себе. В мастерской памятников на одном из надгробий он поместил и свое имя, не проставив лишь года смерти. Трудно не оценить этот жест любви и верности родному городу и тому времени, которое уже ушло.

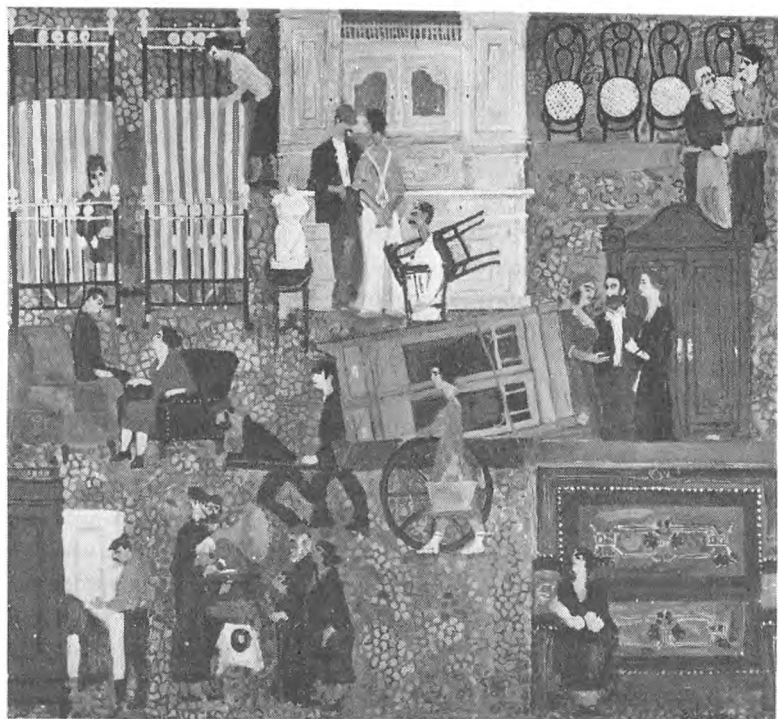
И. Лещинский — киновед; его статьи публиковались в израильской русскоязычной печати; работает на израильском радио.

В РОССИИ Я БЫЛ БОЛЬШЕ ЕВРЕЕМ...

Я хочу говорить об Израиле и о евреях. Что вам сказать? Я приехал сюда — с такой любовью, с такой надеждой... и мне обидно. Потому что оказалось, что это страна не еврейская. Да, да, она не имеет никакого отношения к евреям, хотя номинально, конечно, тут живут почти сплошь одни евреи. Я не берусь это проанализировать, оценить рассудочно — это вне моих возможностей, я могу только констатировать это для себя и то — чисто эмоционально.

Здесь в Израиле я не вижу евреев, которых я знал и любил. Я вижу абсолютно разные группы, не имеющие никакого отношения друг к другу: бухарцы, грузины или, например, американцы с их кучей детей. Совершенно другие евреи, я их не знаю. А я евреев знал. В Москве мне говорили, что я не умею рисовать русских, только евреев, и я этим гордился. Я знал, как называл их Бабель, "живиальных, пузырящихся" одесских евреев моего детства, потом я видел их в Москве, я говорю о старых людях, таких, как я, а не о молодых — эти для меня все космополиты.

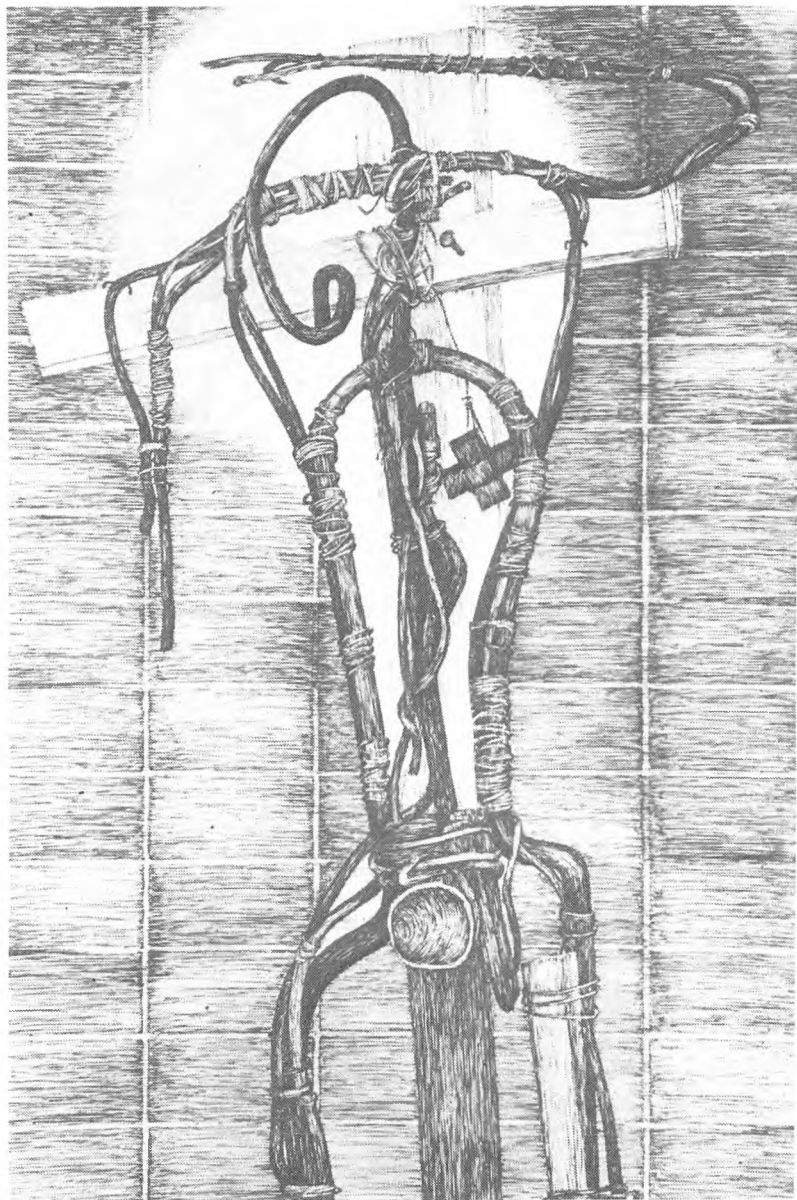
Нет, Израиль — это не евреи. У них же нет никакого воображения! И это у евреев-то? Они идут абсолютно проторенными путями. Ну, например, не может же быть здесь такой же парламент, как где-нибудь в западной стране. Я считал, что в Израиле должен быть какой-то абсолютно другой тип государственности, другой обязательно. Я не понимаю здесь, где кончается демократия и начинается тоталитарное начало, не могу понять; если бы мне кто-нибудь объяснил, я был бы благодарен. Вот моя внучка учит Танах — обязательно; почему она должна учить его обязательно? Если есть демократия, я не понимаю, почему — обязательно?



Е. Ладыженский. "Толчок".



Е. Ладыженский. "О, информация!.."



*Е. Ладыженский "Костел в Новгороде.
"Горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, ставшие на час".*

После таких наших великанов, как Альберт Эйнштейн, Марк Шагал — после этого не может же быть, не должно быть, чтобы тут собрались одни дураки, одни посредственности, которые идут проторенными путями. Ценится только все западное, американское — а Израиль не может быть западной страной, у него другие истоки, другие формы, другие основы формирования

А те евреи, которые приезжают в Израиль, сразу же теряют свой еврейский дух, свой еврейский облик. Происходит что-то невероятное. Я вот слышал по радио, что приехала женщина, ученый, собирается заниматься лингвистикой румынского языка — для меня это такая чепуха, такая глупость! И русским языком заниматься здесь — зачем? Для этого не надо ехать. Это там. И лучше. Я там, в России, читал журнал “Время и мы”, и читать его там было неприятно. Из-за глупой этой ностальгии. Если у писателя, художника есть еврейский дух — надо ехать, а если нет — надо сидеть там. Но приехать и здесь все время говорить о русской культуре?! Не-за-чем! Для меня это чушь. Если она в тебе есть, русская культура, то это само скажется, ты от этого не уйдешь. Но заниматься специально русской культурой здесь, а также любой другой — французской, персидской, насаждать их здесь?! — для меня это бессмыслица. Тогда это становится похожим на заурядную эмиграцию.

Нет, это не евреи здесь. Грустно слышать все время, что ежели что-то худо идет, то виновата наша восточная ментальность или климат, который эту самую ментальность формирует. В сущности, в Израиле все плохое объясняется еврейством. Ментальностью оправдывают все промахи, все безобразия. Никто не гордится своими национальными корнями, художники не стремятся выразить свой национальный дух. Ориентируются только на западное, вернее, на американское, и мне это очень грустно. Дело не в том, чтобы писать только еврейские иероглифы, а именно в духе, который дано художнику выразить. Для меня это дух Гейне, дух Бабеля, хотя один крестился, а другой сотрудничал с советской властью, даже в ЧК работал.

А вне национального художник не существует. Поэтому-то я не приемлю всякие “измы” — очень возможно, что я устарел, но с этим уже ничего не поделаешь. Формальное искусство всегда и везде мне было чуждо. Ну сколько можно на этом спекулировать? И в России на выставках нонконформистов — много, очень много плохих работ, в основном просто плохие работы; идиот-

ство, что их бульдозерами давили, но работы-то были плохие, плохие... Я стар и субъективен, но я не могу стать выше, не могу. Как только художник становится формалистом, он перестает быть художником.

И мне неприятно видеть свои работы, висящие сейчас на выставке в Иерусалимском музее рядом с вещами, мне абсолютно чуждыми.

Краски, кисти, холст — все это создано для того, чтобы художник мог выразить свою душу. То, что большая часть художников здесь в Израиле выражает, мне абсолютно чуждо, как чуждо и еврейскому духу, как я его понимаю. И душа их чужая, и способ выражения. Способ выражения, по-моему, соответствует способу мышления, душевному строю художника. Если этого синтеза не происходит, нет и искусства, категорически нет. Поэтому форму никогда не ищут. По этому поводу принято приводить слова Пикассо: "Я не ищу, я нахожу". Не знаю, находить тоже очень сложная штука. Это само приходит, в процессе работы, и ничего нельзя предугадать. И если душа чужая, то и визуальный результат чужой. В общем, им здесь не интересно то, что мне интересно, то, что выражено в моих картинах. И наоборот. Я говорю сейчас конкретно о тех художниках, которые там, в музее, выставлены вместе со мной. Я не могу даже объяснить, что интересует "их".

Вот наверху выставка американского художника. Это фактически ткани, правда, огромного размера, огромные листы, лихо, ничего не могу сказать — в смысле уменья, ремесла... Если бы он делал эскизы для обоев, для паланкинов или там еще для чего-то, это, может быть, было бы и красиво, не могу сказать. Но тогда бы он перестал числиться художником, а он числится. Для меня это странно. Это совершенно ничем не одухотворено, ничем, совершенно чуждо мне.

А когда вы входите в другой зал, где выставлены израильские художники, то первое, что вы видите, — что многие из них пренебрегают ремеслом. Они пренебрегают ремеслом по тому принципу, что у них, видите ли, так заполнена душа, что она сама выливается, умение им уже необязательно. От этого возникло огромное количество самодетальности, я не могу сказать, халтуры, но именно самодетальности — так себе что-то, какое-то рукоделие, для которого мало что нужно. От этого недалеко уже до тампонной живописи — знаете, пишут менструальной

кровью, калом, я уже не знаю, чем еще — вытяжкой из половых семян быка, что ли — все считается искусством... не понимаю.

У евреев здесь нет своего искусства. Есть несколько хороших художников — Гутман, Бергнер, Бак. К этому можно относиться так и этак, но это искренне пережитое, абсолютно серьезное. К сожалению, таких художников мало, и не только мало: к сожалению, и они несамостоятельны, зачастую просто подражательны, имеют исходный адрес. Нельзя сказать, что это плагиат, но они не могут отойти от учителя, от стиля, который на них подействовал, от фовистов, например. Образы берут из знакомого, а способ изложения чужой. Многие, здесь живя, словно живут во Франции.

Это не связано с тем, будто у них западная душа, и даже не с отсутствием традиции, а именно с отсутствием национального, еврейского начала. У Шагала же этого нет, и у Хаима Сутина этого нет, я говорю о евреях, у Модильяни этого нет, и у Левитана тоже этого не было. Ведь Левитану стали подражать, а не наоборот. А здесь все подражают другим.

Нет, это не евреи... Я знал евреев, потому и рисовал их, поэтому всякий раз с удовольствием обращался к еврейской жизни. Как я их знал! Я знал, какой это доброты народ. Я знал, что если, не дай Бог, у кого-нибудь что-нибудь случилось, если на улице кто-нибудь упал, то бегало пятьдесят человек по всем местам — вызывать скорую помощь; если вам было плохо, то четыре человека брали вас под руки. Это действительно было так. Говорят, так было и здесь когда-то. Но я приехал сейчас, и что было — не знаю, а что есть — очень огорчительно. Общая направленность жизни огорчает, ее практицизм.

На художника здесь страшно влияет меркантильная сторона. В России она чрезвычайно слаба, фактически почти отсутствует. Это очень важно — я поэтому свысока смотрю на тех, кто смотрит свысока на нас, художников, приехавших из России.

Там существует идеологическое давление, но те, кто, так сказать, прицепился к идеологии, те, как правило, плохие художники, или, будучи на каком-то определенном уровне, теряют его. Например, Дейнека — был очень большой мастер и неимоверно снизился. Он даже не продан, нет, не продан, тут произошла другая вещь. То, что происходит, когда художник попадает в определенную среду, и среда начинает его переламывать. Сначала, когда они были "остовцы", они держались друг друга: Дейнека,

Тышлер, Пименов, Шифрин, и держались довольно крепко. Дальше все общества были ликвидированы, появился АХР, и взял бразды правления в свои руки, да к тому же надо учитывать, понять физическое состояние художника — он стареет, его боевитость, так сказать, уходит естественным путем, он уступает, нивелируется, стирается. Вот это и произошло с Дейнекой. Нужно обладать очень значительным талантом, чтобы суметь устоять перед искушением. Там искушение — прежде всего “кувед” и в какой-то степени, гораздо меньшей, деньги. А здесь первое искушение — просто деньги. Но и перед деньгами люди не могут устоять. Назовите мне таких, кто устоял? А, вы не знаете!

И здесь, в Израиле, вряд ли художник может позволить себе такую роскошь — делать все по внутренней необходимости. Вроде бы весь фокус в том, что нужно напасть на мецената, и тогда ты, может быть, останешься таким, как ты есть. Стало быть, для этого должна быть судьба. Это напоминает мне старую пьесу, была такая пьеса Зархи “Улица радости”, я ее в России оформлял. Там герою говорят, что для того, чтобы узнать, как стать в будущем счастливым, он должен выучить 564 правила. И герой учит: в первой картине — одно, во второй — второе. Наконец в конце четвертого акта он переворачивает страницу и читает: “А кроме того, надо иметь талант и счастье!”

Я повторяю — талант, конечно, необходим, но талант еще должен уметь устоять. И здесь, и там. Там, я считаю, это легче. В России — кто не удостоился любви властей, кого это обошло — сохранился и имеет возможность работать.

Вот Фальк — его обошло, он бы очень хотел, поверьте мне, я знал его очень хорошо; Роберт Рафаилович очень хотел быть, так сказать, наверху... но, слава Богу, обошло.

А Павел Кузнецов просто был одним из первых заслуженных деятелей искусства, но и его обошло, власти стали его привечать все меньше и меньше — и он сохранился.

Тышлер — каждый год, как только появляется вакантное место академика, он выставляет свою кандидатуру. И каждый год не проходит. И каждый год это отходит от него — и он остается самим собой, сохраняется как художник. Это очень важно там, чтобы обошло. Когда Пименова коснулась вот эта теплота и гладь — он стал таким плохим художником, равного которому трудно даже найти, и это Пименов, с его талантом. И такая же деформация произошла с просто замечательным художником Кончаловским.

Это все бесспорно. Но шансов на то, что там "обойдет", я считаю, больше, чем на удачу здесь. Вот и Вайсберга тоже обходит эта самая судьба...

Самое худшее "там" для художника — это дуализм, когда люди живут двойной жизнью, но у меня такое впечатление, простите, что это очень похоже на "здесь".

Я — неверующий человек в общем смысле, но тот поступок, что я совершил, отъезд, — это сугубо еврейский поступок. Я не мог поехать ни во Францию, никуда. Мне давали рекомендательные письма, чтобы я остался в Вене — ни в коем случае, я ехал только сюда. Но сейчас я чувствую, что там, в России, я был больше евреем, чем здесь...

И больше скажу: я там мог за евреев взойти на эшафот, если надо... а здесь нет!

В общем, я, конечно, отсюда никуда не уеду. Даже если случится, что картины мои уедут отсюда. Во-первых, потому что я считаю, что это мой рок. Во-вторых, и физическое состояние не позволяет. А в-третьих, я понял, что мне нигде в мире ничто не интересно — как, впрочем, и здесь. Мне интересно только перед холстом, пока у меня есть, что сказать...

Герберт Вайнер

ВСТРЕЧИ

СО ШТАЙНЗАЛЬЦЕМ

(из книги "Десять с половиной мистиков")

С рабби Штайнзальцем я познакомился в маленьком кружке, который собирался в Иерусалиме по четвергам вечерами, чтобы читать хасидские тексты. В кружок входили Хьюго Бергман, вышедший на пенсию профессор Иерусалимского университета, Залман Шазар, который вскоре стал президентом Израиля, и еще несколько человек — учителя, адвокаты, бизнесмены. Вряд ли кто-нибудь из них назвал бы себя мистиком. Некоторые даже не были уверены, что могут назвать себя религиозными. В одном, однако, все они были согласны, что Адин — как они называли своего учителя, — гениальный человек. Мне сказали, что он получил степень по математике в Еврейском университете, а его познания в науке и литературе XX века почти безграничны. В то же время даже самые ортодоксальные раввины Иерусалима признавали, что он "илуй", то есть выдающийся знаток талмудического права, и что его компетентность в самых различных областях иудаизма основана на глубоком проникновении в его скрытую мудрость. Столь же необычной, как эта громадная начитанность, была его способность простого и прозрачного изложения вопроса, в котором самые отвлеченные на первый взгляд рассу-

дения тотчас оказывались переплетенными с самыми животрепещущими проблемами.

Когда я в первый раз увидел человека, о котором мне столько говорили, он показался мне не старше двадцати шести лет. Он был рыжеволос, с растрепанной рыжеватой бородкой и удивительно чистыми голубыми глазами за стеклами коричневых очков. Было прохладно, но на нем был лишь тоненький пиджачок и расстегнутая у ворота белая рубашка. Голос его был так мягок, что порой даже сидевшим близко с трудом удавалось его расслышать. Но уже после первого часа мне стало ясно, что я хочу послушать еще. Я спросил, где я могу с ним встретиться. Все с той же мягкостью он сообщил мне, в каких еще группах он преподает в Иерусалиме и даже предложил уделить мне время для личных бесед.

Я вскоре узнал, что Адин был единственным ребенком в семье убежденных атеистов и социалистов. Даже слава сына не смогла поколебать отношения родителей к религии. Без тени смущения — даже с некоторой гордостью — он рассказывал о своей семье, где не мать, а он зажигал свечи в субботу и где ему пришлось строить свой собственный уголок ортодоксии. Он говорил, что его религиозность не была следствием внезапного обращения. В четырнадцать лет он попросту оставил школу (“Я не видел, чему еще могу научиться”) и около года жил со старым хасидом в религиозном квартале Иерусалима. Раввинские познания Адин получил не обычным путем, не в ешиве, а самоучкой, но ни этот факт, ни молодость не помешали ему атаковать самые сложные проблемы талмудического права.

Когда я начал у него заниматься, он был еще холостяком. Ему приходилось преодолевать все трудности одинокой жизни. Несмотря на растущие похвалы, его томила неуверенность в будущем, несоответствие возвышенных целей и неприглядной действительности. Несколькими годами раньше он с группой друзей отправился в Негев. Они думали создать некое сочетание кибуца с религиозной общиной, где хасидский пыл и ортодоксальная твердость шли бы рука об руку с тяжелым физическим трудом. В течение двух лет эти молодые люди пытались осуществить свою мечту, но в конце концов вынуждены были признать свое поражение. Когда Адин говорит об этом, в его голосе до сих пор звучит горькое разочарование. Он тоскует по кругу друзей, в котором ему отказала судьба, наделив его с молодости такими спо-

собностями, которые превратили его в учителя пожилых людей и затруднили простое и легкое общение со сверстниками.

Сегодня он уже счастливый муж и отец. Все его время отдано переводу, комментированию и редактированию шестидесяти четырех томов Талмуда — делу, которое непомерно трудно было бы осуществить в течение целой жизни даже солидной группе специалистов. Адин, однако, рассчитывает закончить работу за семьдесят лет, и только недостаток средств мешает выполнению этого плана в срок, поскольку не позволяет ученому поручить рутинную часть работы каким-нибудь помощникам. Средств же не хватает хотя бы потому, что определенные ортодоксальные круги испытывают двойственные чувства по отношению к этому талмудическому гению: на первый взгляд, он абсолютно предан религии, но в то же время необычайно широк и свободен и в личных привязанностях, и в своих идеях. Однако, несмотря на всю настороженность, ведущие ортодоксальные религиозные авторитеты Иерусалима сочли своим долгом явиться на прием, устроенный президентом Шазаром в честь выхода в свет первого тома Штайнзальцевского Талмуда. Почтенные раввины, седовласые знатоки Талмуда и даже представители израильских партий собрались в доме президента, чтобы выразить свое уважение к трудам молодого раввина. Явился и отец Штайнзальца, некогда воевавший в Испании на стороне левых, — видимо, отцовская гордость оказалась сильнее иронии. “Они тут все твердят, что такие люди, как мой сын, появляются раз в две тысячи лет, — с усмешкой сказал он. — И надо же, чтобы это случилось в нашей семье...”

Одна из групп, куда Адин пригласил меня, занималась в синагоге, расположенной на боковой улочке в квартале Катамон в Иерусалиме. Это было запущенное здание с принесенными откуда попало скамьями и столами. По субботам, когда водопровод бездействовал, запах внутри был невыносим. Синагога состояла из пяти маленьких комнатушек, каждая для своей общины, но по субботам весь порядок рушился, и люди толпились в той комнате, где в данный момент начиналась служба. Это приводило к невероятному смешению говоров, нарядов и лиц. Тут были и хасиды в длинных сюртуках, утверждавшие, что они ведут происхождение от старинных иерусалимских родов, и сефарды в черных конусом шляпах и арабского стиля костюмах, и светловолосые юнцы европейского вида вперемежку со своими смуглыми сверстниками из восточных общин. Тут были и молодые

люди в маленьких вязаных кипах, свидетельствующих об их принадлежности к молодежному религиозному движению, и марокканская молодежь в тесных, левантийского кроя одеждах.

“Настоящий Ноев ковчег”, — заметил один из учеников Адина, увидев, что я разглядываю эту причудливую толпу. Сам он был рослый, крепкий русский еврей, инженер, который бежал в Израиль после того как повидал концлагеря в Восточной Европе. Он участвовал в Войне за независимость и теперь, после рабочего дня и по субботам, изучал хасидизм под руководством молодого рабби Штайнзальца. Случалось, что Адин упрекал его в соскальзывании в марксистский скепсис; один такой случай произошел, когда мы разбирали очередной сложный хасидский текст, толковавший о “сефирим” и “офаним”.

— Послушай, Адин, — взорвался вдруг русский, — в армии тебя не будут бесконечно учить, когда-нибудь пора и стрелять начать. А мы когда начнем заниматься делом?

Молодой раввин добродушно парировал вызов:

— Некоторые люди проводят все свое свободное время, разговаривая о деньгах и о бирже. А мы здесь проводим свое свободное время, разговаривая о духовном мире вне и внутри нас. И само это изменяет нашу жизнь. Разве не так?

Кажется, русского это не убедило. Я же вспомнил о встрече с одним израильским мошавником, которого посетил на прошлой неделе. Мы тогда заговорили о предмете, который всех сейчас интересует — об исследовании халал, космического пространства. “Мы потеряли шамаим, небо, — сказал вдруг мошавник. — Сегодня мы видим над собой только халал, пустоту, и говорим только о покорении пустоты. Мы, наверно, потому так много говорим о покорении пустоты, что внутри себя тоже ощущаем пустоту, халал...”.

Это верно: для иудаизма нет пустого пространства, он не страдает от внутренней пустоты. Тем не менее вопрос русского еврея продолжал меня тревожить, и однажды вечером я снова задал его Штайнзальцу.

— Я думал об этом, — тихо сказал он, — иногда мне кажется, что мир похож на дремучий лес и человек может — самое большее — расчистить в нем небольшую полянку...

Перевел Р. Нудельман

СУТЬ ТАЛМУДА

Если Библия — краеугольный камень иудаизма, то Талмуд — его центральная колонна, поддерживающая весь духовный и философский свод. Талмуд со многих точек зрения есть самая главная книга еврейской культуры, хребет национального существования и творческой активности. Нет другого труда, который оказал бы сравнимое влияние на теорию и практику еврейской жизни, придав форму ее духовному содержанию и служа руководством к поведению. Евреи всегда сознавали, что продолжение их существования и национального развития зависит от изучения Талмуда, и враги иудаизма и еврейства также были хорошо осведомлены об этом. Эту книгу шельмовали, уничтожали и предавали огню бесчисленное множество раз в средние века. Оскорбления преследовали ее и в недавнем прошлом. Сколько раз изучение Талмуда строжайше запрещалось! Ведь было совершенно ясно: еврейское общество, прекратившее изучение своего основополагающего труда, не имеет надежды выжить!

Талмуд представляет собой собрание устных законов, разработывавшихся поколениями мудрецов в Палестине и Вавилонии вплоть до начала средних веков. Он состоит из двух частей: Мишны, книги Галахи (Закона), написанной на иврите, и комментариев к Мишне, известных как Талмуд (или Гемара) в узком смысле слова, где содержится обобщенное изложение дискуссий и разъяснений по поводу Мишны, написанных на иврит-арамейском наречии.

Такое определение Талмуда формально верно, но по сути дела не точно. Талмуд есть хранилище тысячелетней еврейской муд-

рости и устного учения, столь же древнего и величественного, сколь и писаный Закон (Тора). Талмуд — громадное собрание правил и легенд; глубокой философии и уникальной логики, смешанной с тонким прагматизмом; исторических фактов и забавных притч в соединении с научным подходом и лукавым юмором. Талмуд — коллекция парадоксов, оформленных в логически-упорядоченную систему, где каждое слово дотошно обкатано многовековой работой составителей; в свое время он был основан на свободной игре ассоциаций, сопрягающей далекие понятия, но нам напоминает современный роман потока сознания. И хотя его главная цель — толковать и пояснять Книгу Закона, он на самом деле есть в то же время художественное произведение, которое проникает глубже законодательства и его приложений. И по сегодня Талмуд остается первоисточником еврейского Закона, хотя он уже не может быть призван как авторитет в целях практического управления.

Талмуд рассматривает абстрактные и совершенно нереальные проблемы в той же самой манере, в какой касается самых прозаических фактов повседневной жизни, и при этом обходится без специальной терминологии. Талмуд основан на традиции и авторитете, передаваемых из поколения в поколение, но вместе с тем он постоянно подвергает проверке принятые точки зрения и обнажает скрытые причины. В методах обсуждения и способах доказательства Талмуд приближается к математической логике, но не использует при этом ни математических, ни логических символов.

Чтобы лучше понять Талмуд, задумаемся о целях его авторов и составителей. Чего они добивались, все эти тысячи мудрецов, чья жизнь прошла за дебатами и дискуссиями, которые они вели в сотнях больших и малых ешиботов? Разгадка кроется в самом названии: Т а л м у д — изучение, познание. Талмуд есть воплощение великой концепции м и ц в а т т а л м у д Т о р а, религиозной заповеди, обязывающей к изучению Торы, которое требует глубоких познаний и мудрости, которое в самом себе содержит начало и конец и есть своя собственная цель и награда. Некий талмудический мудрец, не оставивший нам ничего, кроме своего имени и одного-единственного афоризма, приведенного ниже, сказал так: “Снова и снова листай ее, ибо все содержится в Торе. Вглядывайся в нее и состарься в ней, ибо нет в мире добродетели большей”.

Изучение Торы, несомненно, служит и многим практическим нуждам, но не это есть его настоящая цель. И не важно, существенно ли для жизни решение той или иной обсуждаемой проблемы. Ибо цель изучения — само изучение. Это вовсе не значит, что для Талмуда практические приложения полученных знаний не имеют цены. Наоборот, особо подчеркивалось, что тому, кто изучает Тору и не следует ей, лучше бы не родиться на свет. Настоящий ученый служит живым примером всей своей жизнью и поведением. Но это лишь часть общего взгляда на Талмуд. Тому, кто погрузился в текст Талмуда, изучение не несет ничего, кроме самого знания. Рассмотрения и анализа достоин любой вопрос, если он имеет отношение к Торе или, так или иначе, к жизни, связанной с Торой, и в любом случае делались попытки проникнуть в самую суть явления. В процессе же изучения вопрос о практическом значении разбираемого предмета никогда не ставился. Мы обнаруживаем в Талмуде страстные и длительные споры, во время которых участники стремились постигнуть природу метода и объяснить полученные при его помощи заключения. Ученые не жалели своих усилий даже в тех случаях, когда знали, что исследуемый источник был отвергнут и не получил законообразующего значения. Вот почему порой очень горячие споры велись в связи с проблемами, имевшими место лишь в отдаленном прошлом и не имеющими никаких причин возникнуть когда бы то ни было снова.

Бывало, конечно, что проблемы или дебаты, казавшиеся некогда далекими от практики и не относящимися к делу, позже обретали актуальное значение. Это известный феномен из области чистой науки. Но такой результат есть маловажное последствие для исследователя, погрузившегося в Талмуд, ибо с самого начала его единственной целью было решение теоретических задач и поиск чистой истины.

Талмуд, очевидно, складывался по многим линиям как юридический трактат, и нередко совершают ошибку, полагая, что он и есть юридическое произведение по существу. Но Талмуд рассматривает все явления, с которыми имеет дело, главным образом Г а л а х у, библейские стихи или традиции, переданные в потомство мудрецами, — как частички мира сущего, как компоненты объективной действительности. Когда имеешь дело с природой, нелепо жаловаться, что предмет не взывает к тебе или что он не достоин внимательного изучения. Вещи, конечно, различа-

ются по степени своего значения, но все они сходственны в том, что существуют, и, следовательно, должны быть замечены и рассмотрены. Когда ученый талмудист исследует древнюю традицию, он воспринимает ее прежде всего как реально существующее явление, и — независимо от того, связана она с ним или нет, — она есть часть его мира и не может быть опущена. Когда ученые обсуждают отвергнутую идею или отброшенный источник, их отношение напоминает отношение ученых, рассматривающих организмы, вымершие из-за невозможности приспособиться к изменившимся условиям. Организм был “ошибкой” природы и потому исчез, но это обстоятельство не отменяет его научного интереса, и он не перестает быть объектом изучения.

Более века продолжалась одна из величайших исторических дискуссий — полемика между школами Шаммая и Гилеля. Ее итоги были подведены в известном афоризме: “Оба они суть слова Бога живого, а решение должно быть по школе Гилеля”. То, что один метод был предпочтен другому, не означает, что второй исходит из неверных посылок; он также есть проявление созидательной способности и одно из “слов Бога живого”. Один мудрец осмелился сказать, что некая теория не нравится ему, и был немедленно распечен коллегами, указавшими ему, что неправильно говорить о Торе: “То хорошо, а это нет”. Ведь и ученому не подобает говорить, что то или иное создание природы кажется ему “непривлекательным”. Не надо думать, что оценки такого рода (включая понятие привлекательности) никогда не применяются; но и в этом случае следует сознавать, что человеку не дано определить, хватает или нет такому-то предмету красоты с чисто объективной точки зрения.

Эта аналогия между миром природы и Торой чрезвычайно древнего происхождения, и ее широко развивали еврейские мудрецы. Очень рано была высказана мысль, что, подобно тому, как архитектор руководствуется чертежами при постройке здания, так Святой Дух — да будет благословенно имя Его — следовал Торе при создании мира. При таком подходе должно существовать явственное соотношение между миром и Торой; то есть Тора есть часть сущности мира природы, а не просто некие внешние умозаключения о нем. Следуя такому способу мышления, нельзя не прийти к выводу, что для исследования и исследователя нет ни слишком странного, ни слишком далекого, ни слишком причудливого явления.

Талмуд отражает чрезвычайно широкий спектр интересов — поскольку он не есть однородное произведение одного автора. Он не есть также результат коллективного труда нескольких человек, объединенных общим намерением, которое определило бы характер и направление книги. Нет, он сложился таким, каков он есть, как конечный итог собирания и редактирования мыслей и высказываний многих ученых за долгий срок, и ни один из этих авторов не увидел всей работы завершённой. Их замечания были вдохновлены самой жизнью, вырастая непосредственно из обсуждаемых проблем, из обмена мнениями между мудрецами, их оппонентами и их последователями. Вот почему невозможно вычлнить одну ясную тенденцию или специфическую цель в Талмуде. Каждое обсуждение по большей части независимо от других и само по себе уникально, и на каждом явлении сосредоточен весь интерес в момент посвященной ему дискуссии. И все же Талмуд имеет свой собственный поразительный и безошибочно распознаваемый облик, который не несет отпечатка личности автора или издателя, но есть отражение коллективного характера еврейского народа в тот период, когда создавался Талмуд. И не только тогда, когда излагаются тысячи анонимных точек зрения, но и в тех случаях, когда автор или защитник определенной позиции поименно известны, — различия между индивидуальностями как бы отступают на второй план, и преобладает стремление к обобщению. Как бы ни отличались два оппонента, общие черты и сходство их мировосприятия должны в конце концов стать ясны для читателя, и тогда он увидит всеохватывающее единство, покрывающее все различия.

Так как Талмуд рассматривает предметы, идеи и проблемы в их вековом развитии, принято при цитировании употреблять настоящее время: "Аббай говорит...", "Рабба говорит...". Этот стилистический обычай отражает убеждение, что данный труд есть не просто регистрация мнений ученых прошлых веков и что о нем нельзя судить с приложением исторического критерия. Сами мудрецы различают и личности, и периоды (без этого невозможно было бы изучение), но о различиях упоминают лишь тогда, когда это совершенно необходимо и их не привлекают для оценок или обсуждения. Для мудрецов время — не постоянно текущий поток, в котором настоящее непременно смывает прошлое; нет, они понимают время как деятельно развивающуюся сущность, где живое прошлое заложено в настоящем и будущем.

Внутри обширных процессов одни элементы устойчивы, другие, принадлежащие настоящему, более подвижны и изменчивы, но само движение основано на вере в жизненность каждого элемента, даже самого древнего, и на понимании важности его роли в бесконечном самовозобновляющемся труде созидания.

Это понимание всеобъемлющего созидания тесно связано с центральной ролью вопрошающего сомнения в талмудических дебатах. Весь Талмуд, по сути дела, это вопросы и ответы, и даже когда вопрос не поставлен впрямую, он всегда заложен в основание каждого суждения и каждого толкования. Один из древнейших способов постижения Талмуда есть попытка реконструкции вопроса, лежащего в основе ответа-утверждения. Не случайно Талмуд содержит так много слов, обозначающих вопрос, начиная от вопроса "почему?", призванного удовлетворить простое любопытство, и кончая сомнениями, которые содержат попытку подорвать самый фундамент обсуждаемой темы. Талмуд различает вопросы основные и частные, центральные и боковые. Сомнение не только законно в Талмуде, оно есть главный инструмент познания. Любой вопрос дозволителен и желателен: и чем больше вопросов, тем лучше. Никакое сомнение не будет сочтено бессовестным или некорректным, лишь бы оно относилось к делу и помогало пролить свет на еще какую-нибудь сторону обсуждаемой темы. Так построен сам Талмуд и так его познают и изучают. Едва усвоены некие основы, как вслед за этим от студента уже ждут, что он сможет поставить вопросы себе и другим и выставить свои сомнения и оговорки. Возможно, во всей мировой культуре Талмуд единственная священная книга, которая разрешает и даже призывает учащегося задавать ей вопросы.

Эта особенность приводит нас к еще одной закономерности в композиции и изучении Талмуда. Его нельзя познать со стороны. Любое описание сути дела или метода неизбежно останется поверхностным, потому что Талмуд — уникальное явление природы. Только полное духовное включение ведет к истинному знанию, и изучающий Талмуд должен всем напряжением сердца и мозга участвовать в талмудических спорах, становясь до некоторой степени одним из его создателей.

Перевели Н. и Б. Рубинштейны

Настоящая глава представляет собой введение к книге рабби А. Штайнзальца "Суть Талмуда", готовящейся к изданию в книготовариществе "Москва—Иерусалим".

Наталья Рубинштейн

ЕЩЕ ОДНО ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

С некоторых пор свободный мир подвергается смертельной опасности: разудалое племя островитян, населявшее прежде архипелаг ГУЛАГ и его окрестности, поспело наконец к американскому (европейскому, израильскому — нужное подчеркнуть) пирогу и требует переделить весь торт заново.

“Перед нами Америка, мир несметных богатств, рожденных технологической цивилизацией, и нам дана возможность проникнуть в него и, может быть, завоевать его... Нам даны только шансы, шансы — и никаких гарантий... Используя свой шанс, карабкайся наверх, грызи зубами — или катись под откос... Всем даны равные шансы — пусть каждый пробивается сквозь “джунгли свободы”...”

Какой вождь наставляет таким образом свое лихое первобытное племя, едва высадившись с узких пирог (вариант: крутобоких ладей) на просторы американского цивилизованного континента? Ну, проверили клыки и когти, крепость локтей, надежность коленок? Запомните:

“Люди, живущие в джунглях, в силу естественного закона самосохранения, исстари стремились вооружиться. И джунгли двадцатого века вряд ли представляют исключение... А чем вооружен эмигрант?.. ...он гол перед этими кланами и людьми, закованными в латы... Да, он гол и немощен перед лицом до зубов вооруженного американского общества...”

Однако не отчаивайтесь:

“...человек из СССР приобретает почти уникальную способность выживать, по крайней мере, биологически выживать в условиях, которые ни один нормальный человек свободного мира не в состоянии вынести...”

А потому:

“...еще совсем неочевидно, кто более приспособлен к жизни в этом обществе, в этих джунглях свободы, — обитатель советского архипелага, голый, безъязыкий, но обладающий непревзойденным талантом работать локтями и при необходимости стоять за себя насмерть, или закованный в латы, изнеженный и вечно холящий душу и тело “тихий американец”...”

Да чего там “неочевидно”?! Очень даже все очевидно: вперед, ребята! — и трепещи, “мир несметных богатств”. Что с того, что не нами делано, не нами строено? Зато пришли на готовое — обобрать плоды дряхлеющей цивилизации. Как не дашь, падла?! Кулак у меня советский, железный, на архипелаге откован. Звездану — все твои звезды вместе с полосами из глаз посыплются. Что ты мне свои “Декларации” в морду тычешь? Я те что, адвокат в очках, законник? Ты мне все отдай — как я есть пришел, гегемоня, из форпоста тоталитарного порядка. А у тебя тут что? — “джунгли”!

Откуда цитаты?

Из журнала “Время и мы”, вестимо.

Из номера 37, а также из номера 41.

Не в искажении — в сгущении. Ярче и жарче светит нам заветная мысль победоносного полководца, освобожденная от бряканья словесных цепей: всех этих “первоистин”, “самоценностей” и “мировоззренческих сторон” (не говоря уж о “доминантных обстоятельствах” и “гипертрофирующих сообщениях”).

За полгода дважды собирались в аудитории Колумбийского университета (г. Нью-Йорк, США) читатели и почитатели заметнейшего русского зарубежного “журнала литературы и общественных проблем”, чтобы получить от его редактора руководящие указания: как им вернее завоевать Америку. Мимо ушей пропускали “самоистины” и “первоценности”, добираясь до сути, до главных тезисов.

О ТЕЗИСАХ. Тезисов, собственно, было два.

Первый: “в джунглях — как в джунглях”. Либо ты его, либо

он тебя. Стоять насмерть, работать локтями, грызть зубами. В случае крайности — пускать в ход старое, но грозное оружие:

“Тоталитарное мышление, неспособность к компромиссам (иногда граничащую с экстремизмом), неимоверную подозрительность (иногда граничащую с ненормальностью) ... — некие качества бойца”.

Эти качества в дело — и дело в шляпе:

“Говорят, в последнее время негры и пуэрториканцы не рискуют появляться на Брайтон-Бич”.

Внуки Бени Крика надавали по шейм распустившимся правнукам дяди Тома и тем восстановили право белого человека. Показали, кто в Америке настоящий хозяин!

Первый тезис был оперативный.

Второй — оперный: “Пусть неудачник плачет!”

Баритон: “грызи зубами — или катись под откос!” Исполнение впечатляет почти до полной убедительности.

Робко:

“А где ж “милость к падшим”? Где традиция, к которой подверстывают себя “журнал литературы и общественных проблем” и его редактор, всуе поминающий Чаадаева — пример великого презрения к успеху? За могучим редакторским рыком не слышен слабый голос классика: “Вас поздравляю с неудачей. Она блистательный успех. Она почетна наипаче и назидательна для всех”. Старая русская литература жалела маленького человека, судила — и прощала — лишнего, но никогда не спускала — хищному. А тут русский литератор наставляет своих читателей не по “Книге джунглей” даже — по кодексу тайги, где, как известно, прокурор медведь, а адвокатов волки съели.

Оттуда, из глубины сибирских руд, из московского юридического заповедника только и можно было вынести понятие о самовластье как о крепости, а о свободе как о джунглях. Ну и плюс некоторая все же начитанность. Горький, Алексей Максимович: “город желтого дьявола”, “в каменных джунглях”. А так же О. Генри: “Боливару не снести двоих”. Но главное, главное — учебник политэкономии, дважды сдаваемый в процессе получения двух “верхних” образований: “эпоха первоначального накопления”, “за счет безудержной эксплуатации колоний и резервной армии безработных”... Крепко запавшие в сознание рецепты успеха.

Кто вырвался из джунглей беззакония в цитадель свободы — тот вовек не избудет ответственности, не забудет об осторожности

(“в чужой монастырь да со своим уставом”), не отринет благодарности. Если ж другим путем — из крепости (тоталитаризма) в джунгли (свободы) — тогда, конечно, и милость к падшим — побоку, и гражданские обязанности — опостылевшая тягомотина, и национальные привязанности — местечковая “лажа”. И тогда ты свободный, круглый и голый, как ноль, плюс тоталитарные локти, минус язык, спущен с цепи. И — держись, тихий абориген! Потому как — “даешь шанс!” **“Перед нами Америка!”** Уже завоеванные пространства тесны, возможности Израиля вычерпаны. “Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?”

ОБ ИЗРАИЛЕ И ИСТИНЕ. Отсюда, с нашего израильского берега, помашем платочком: большому кораблю большое плавание. Но не удержимся от прощальных слов.

Читатель — взгляд на подпись — понял давно, что читает: письмо беглого матроса с того же судна. Чтобы не показаться обиженно брюзжащей: без меня уплыли! — предлагаю читателю сравнить список команды первых номеров с составом последнего: из тринадцати членов первого экипажа удержалось пять. Где остальные восемь? Ушли в разное время. Потому что сперва полагали, что прокладывают вместе с капитаном курс русскому израильскому журналу в океане свободы, а обнаружили вдруг, что прорубаются сквозь джунгли. В джунглях редколлегия только на обложке собирается. Она есть, так сказать, фикция графическая. Сам журнал — как журнал израильский — есть фикция географическая. Вот две причины массового побега команды.

Я не счета свожу — я свожу принципы.

На обложке первого номера:

“В мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношений между людьми, мы исполнены одной лишь целью — помочь читателю разобраться во времени и себе”.

Красиво — жуть! Но устарело. На обложке давно уже следовало бы утвердить новый принцип:

“Используя свой шанс, карабкайся вверх, грызи зубами — или катись под откос. Всем даны равные шансы — пусть каждый пробивается сквозь “джунгли свободы”...”

В манифесте первого номера обещано:

“Ради дешевой популярности... не пойдем на компромиссы с нашей нравственной задачей...”

В Колумбийских же речах сказано — ради ласки тех, кому не по душе Израиль:

“Израиль — не просто еврейское государство, это еще и глубоко идеологизированное государство... Я бы хотел сказать совершенно открыто: “Время и мы” не является сионистским журналом... И тут мы вступаем в область, которую я охарактеризовал бы как систему ценностей в современном мире*. Две из них, может быть, самых высших, — Родина и истина — находятся в состоянии постоянного конфликта: что выше, что большая ценность, Родина или истина? Чаадаев, отвечая на этот вопрос, когда-то писал: “Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине”. И еще: “Не через родину, а через истину лежит путь к небу”... Обращаясь к уже поставленному вопросу, дорог ли нам Израиль, мы, вероятно, можем ответить так: “Израиль нам дорог, но истина дороже...”

Вот так — с безоглядной прямоотой: **родина (Израиль) вступила в непримиримый конфликт с истиной (“перед нами мир несметных богатств, и нам дана возможность, может быть, его завоевать”)**. И, выбирая, что “большая ценность”, утверждаем, не убоясь ищек “глубоко идеологизированного государства”: “истина нам дороже...” Свято помня свою “нравственную задачу”, заявляем уже “совершенно открыто”: “Время и мы” не является сионистским журналом...

Поскольку не все читатели “22” и “Времени и ... нам? нас?” (склонение этого названия всегда представляло для меня непреодолимую трудность) разбираются в израильской каждодневности, займемся простейшими размышлениями и разъяснениями.

Ума не приложу, что означает фраза: “Израиль — глубоко идеологизированное государство” — применительно к обществу, правильная модель которого дана шуткой: каждые два еврея составляют три партии. За все израильское пятилетие никто и никогда не интересовался моей идеологией — даже обидно!

* Не могу не поделиться с читателем восхищением перед новизной и смелостью выражения “**область как система ценностей**”. Впрочем, Колумбийские речи блещут новаторскими находками. Вот несколько жемчужин: “одним росчерком пера они вытаскивают из небытия...”, “социальный спектр эмиграции многолик...”, “при всей плюралистичности целей отъезда...”, “речь идет о субъективном самоощущении...”, “в сфере этих аксиоматических постулатов...”, “несостоявшийся его обладатель”... Умри, Марамзин, лучше не скажешь! Добыча этих перлов нетрудна для читателя, владеющего нормативной грамматикой. Оставляю ему этот радостный поиск.

Но, может быть, редактор журнала “Время и мы” пострадал за свой открытый антисионизм? Может, его, когда он “голым и безъязыким эмигрантом” явился в Сохнут, лишили субсидии на издание “несионистского журнала”? Может, ему отказали в стипендиях, на которые он мог первые, самые трудные годы содержать штат сотрудников? Может, у него осмелились спросить, где он, этот штат, когда стипендии кончились? Может, страшно подумать, его заставляли публиковать просионистские материалы, а за отказ таскали в Шинбет и оказывали давление на подписчиков?

“...не на помощь партий и правительств мы рассчитываем, не на субсидии “заказывающих музыку”...”

К чести “глубоко идеологического государства”, заметим, помогать оно помогало, но музыку не заказывало. Почему гордая независимость основателя журнала подвергнута проверке не была, и о ней мы судить не можем.

Слово “сионистский”, согласна, звучит страшно. Как сейчас помню, в нашем домоуправлении (ул. Гаврская, 11, Выборгский район, Ленинград) однажды даже лекция была объявлена: “Сионизм — злейший враг человечества”. Не голод, заметьте, не рак, не — смешно сказать — террор. Нет, вот так вот, без околочностей: **сионизм** — злейший враг человечества. Но что взять с ЖЭКа, когда вот редактор “выходящего в Израиле русского журнала” (знает, видно, человек, о чем говорит — небось, хлебнул горя!) заявляет изголодавшимся по правде-матке новоамериканцам:

“Осуществляя абсорбцию новых иммигрантов, Израиль в ряде случаев заботится не столько об их устройстве, сколько об их идеологии, об их “сионистском сознании”...
Пытаются обвинить евреев из СССР в их “русскости”, в отсутствии у них еврейской культуры, в том, что они вообще “плохие евреи”...”

Тут-то и поняли окончательно “наши с Брайтон-Бич”, как они маршрутом не ошиблись. Точно, как им еще в Одессе говорили: ни квартир в этом Израиле, ни работы, одним мокрым полотенцем все утираются, в неделю по году в армии поголовно служат, Тору под страхом второго обрезания изучают. Ясное дело — “глубоко идеологизированное государство”: сионизм плюс электрификация всей страны! Спасибо “Времени и мы” (или “...нам”? “...нас”? “...их”?) — раскрыл глаза!

В эти раскрытые глаза и развешанные уши свидетельствую:

политруков и долбителей культа в Израиле, как и во многих других местах, можно встретить сколько угодно. Но если не захотите — не встретите. Можете уклониться от сионизма вообще, вступить в компартию, заняться защитой интересов палестинцев, если они вам дороже всего на свете, можете затеять любой журнал (от героически неидеологического "Времени и мы" до безыдейно порнографического "Ревю") — государственная помощь, положенная новоприбывшему, вам все равно будет оказана.

Да, вас будут завлекать в "сионистские сети", если под таковыми понимать широкую программу еврейского просвещения: языка, культуры, истории, религии. Надо же вам знать, кто вы такой и где живете. Но и это необязательно: живите до конца своих дней, не отличая Рош-Ашана от Рождества, а Герцля от Герцена. В этом случае, возможно, кто-нибудь и заподозрит вас в "отсутствии еврейской культуры", но никто не скажет, что вы "плохие евреи".

Увы, Земля Обетованная не течет молоком и медом, и много в ней всяческих недостатков и нехваток. Вся израильская печать на всех израильских языках (включая и русский) трубит о них денно и нощно. Стоит ли добавлять Израилю несуществующие грехи? И как оно, с высоты "нравственной задачи", хорошо ли, порядочно ли — в Израиле выдавать себя за жертву коммунизма, в Америке — за жертву сионизма?

Но что поделаешь: истина дороже Израиля...

О ЛИНИИ И ЛИРИКЕ.

"Порой мы слышим обвинения в том, что "Время и мы" не имеет линии. Я бы хотел остановиться на этом подробнее, потому что тут мы подходим к очень важной для нас мировоззренческой стороне дела".

Я думаю, что "Время и мы" имеет линию, и очень отчетливую. Элегантным изгибом этой линии журнал ищет угодить покупателю. Это и есть генеральный "аксиоматический постулат", все прочее, как говорится, — "литература". Сегодня покупающий за доллары предпочтительней оплачивающего лирами, поэтому журнал старается потрафить ему (тому, который с долларами), ободрить и одобрить его в сделанном им выборе. Поэтому "Израиль нам дорог", но государство это "глубоко идеологизированное", интеллигентный человек с Молдаванки там жить не может. Поэтому "Время и мы", став перед выбором: влачить жалкое (тридцать две

лиры за доллар) существование в сионистском аду или с опасностью для жизни “стоять насмерть” в джунглях свободы, выбирает— джунгли!!

“Время и мы” несет в джунгли “первоистину”, “идеалы свободы и справедливости”, напоминание “о моральном долге перед другими народами”.

И правильно! Заловив свой шанс, самое время вспомнить про долг. Желательно, конечно, видеть свой долг именно там, где предоставляется шанс. Иначе возникает угроза **“постоянного конфликта”**: что выше, что большая ценность — родина или шанс... тьфу, истина?

О шансе в “Колумбийских речах” не сказано — пропето. Лирический эпос, эпическая лирика!

“За каждым углом человек ищет и уже почти находит свой шанс, всякий час он на пути к нему, только по какой-то чистой случайности шанс ускользает, и несостоявшийся его обладатель разбивает лоб о невидимую стену — не тем оказался угол! В азарте игры он устремляется к другому углу, неудача лишь окрыляет его, “все равно выбьемся!” — говорит он себе, охваченный почти маниакальной эйфорической верой. И вот уже у другого угла, кажется, уже совершенно въявь, блеснул хвост жар-птицы. Он мертвой хваткой вонзается в этот “хвост”, но ... оглушенный и растерянный так и остается с ним в руках. И так — множество раз, пока эйфория не сменяется депрессией. Но даже в состоянии депрессии, иногда граничащей с паранойей, он не готов принять тяжелую реальность, смысл которой в том, что джунгли свободы, в которых он оказался, — это, если хотите, джунгли особого рода, лишающие его, эмигранта, столь возжеланных равных возможностей”.

Ну, просто “эта штука сильнее, чем “Фауст” Гете!” И всякие там мелкие погрешности, вроде как: **“несостоявшийся его обладатель”, “эйфорическая вера”** или **“джунгли особого рода”** не должны отвлекать нас от пафоса этого **“субъективного самоощущения”**. Конечно, как не пожалеть того, кто **“мертвой хваткой вонзается в хвост”**?! Хваткой нельзя вонзиться — только схватиться. Вонзиться возможно только в зад, схватить же — за хвост. Но лирический герой будет понят нами, несмотря на полную грамматическую несуразность совершаемых им действий. Ведь человек на стреме, в засаде человек, подстерегает случай — на случай, если случай предназначался другому, чтобы перехватить его для себя! Случай, которому оставлены своевольная прихоть птицы и жаробле-

щущее перо, беспечно и неосторожно появляется вблизи опасного перекрестка. Следует сцена охоты в джунглях. Воспомнив же, что перед нами "джунгли особого рода", каменные, с углами, догадаемся, что стали свидетелями уличного нападения, налета. На войне — как на войне; в джунглях — как в джунглях.

За одним углом Сохнут. Но там шанс оказался не тот. За другим углом Брайтон-Бич. Попробуем-ка этот шанс. А где шанс — там и долг. "Израиль нам дорог, но..."

"Всякий раз, когда перед нами вставал вопрос — содействовать ли демократическому движению в России, выступать ли против тоталитаризма, спасти ли жертвы советского режима — мы давали ответ, который далеко не всегда соответствовал официальной идеологии Израиля".

Марк Бернес, помните, пел: "Я вам не скажу за всю Одессу..." Даже за всю Одессу не брался сказать, а ведь был неглупый еврей. А журнал "Время и мы" вам за весь Израиль сразу же выложит: какая у него официальная идеология. Этого, кроме журнала "Время и мы", никто сегодня не скажет, да и не знает никто. Нужды нет, что "жертвы советского режима" почти поголовно выбрались из России по вызовам и визам "глубоко идеологизированного" сионистского государства. Боролся журнал "Время и мы" против тоталитаризма и всегда будет бороться: что в коридорах "Литературки", что в коридорах Сохнута, что еще в каких-нибудь коридорах!

Пора за третью книгу воспоминаний братья. Даже название придумывать не надо. Жизнь придумала — "Покинутый Израиль". А можно и так: "Перед нами — Америка!"

О СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ. Расхождение между словом и фактом называется ложью. Разрыв между декларацией и поступком имеет название: демагогия. Противоречие между словом и принципом всегда мстит за себя, прорываясь в текст неувязкой слова и слова.

Говорится (как декларация) :

"Люди не в состоянии, как бы они того ни хотели и как бы ни хотели этого чиновные ведомства, — сменить, подобно костюму, сознание".

Проговаривается (уже как руководящий принцип) :

"Все в руках человека, в ваших руках, и только когда вы это поймете, — избавившись от самих себя, — бремя свободы превратится для вас в великое благо".

Трудность перестать быть самим собою, свобода как единственное условие, чтобы только собою быть, упереться, не меняясь больше, чем опыт и долг велют, чтоб сохраниться (если есть, что сохранять) — это одна позиция.

Избавиться же от самого себя для достижения великих благ “мира несметных богатств”, то есть не сохранить себя, но изменить себе — совсем иная.

Которой же из них нас призывают следовать?

Совсем не важно, какие принципы громко провозглашают своими. Важно — по каким живут. Лирика самовыражения и патетика наставления убеждают: фраза о верности себе — только фраза. Для действия же руководящая установка — другая: шанс, успех, удача. Это в “Речах” единственная сквозная идея, единственная последовательная идеология. Все остальное не смена душ — смена одежд (по моде), вывесок (по месту), убеждений (по ситуации); принципов (по курсу валюты). Цель одна: погоня за **шансом**, переброс от угла к углу, поиски жароптицева пера. Един бог, один свет — успех!

Идейный стриптиз — поучительный танец. Но русский литературный язык знает для этого занятия старинное словцо Достоевского — это называется **заголиться**.

В джунглях свободы — все пожалуйста; можно и заголяться, можно и изгиляться. И над родиной, и над истиной. Странно только выглядит в дебрях этого текста чопорная тень Чаадаева. Не свою добычу приволок в свой журнал в этот раз редактор.

Мандельштамом было сказано, что “Россия была причиной мысли Чаадаева”. Но смелым покажется утверждение, что Израиль — причина мысли, выраженной в “Колумбийских речах”.

Истина, добытая Чаадаевым, состояла в том, что он увидел в ужасе (верно ли было его видение — другой вопрос) бытование своей страны вне исторического бытия других народов. И горечь эту Чаадаев не посмел утаить от своей родины. Этому горькому зерну мы обязаны в дальнейшем самыми замечательными побегами и пробегами русской мысли.

Обогатит ли иудейскую философию концепция “Колумбийских речей”?

Присутствие народа Израиля на путях мировой истории никто еще не ставил под сомнение. Какую же истину нас зовут на этот раз предпочесть нашей родине? Успех и шанс? Шанс на успех?

У Чаадаева: “Не через родину, а через истину лежит путь к небу”.

Чтоб повторить себе в поддержку такую фразу, надо знать над собой Небо, Его власть и свой перед Ним ответ, надо, как Чаадаев, помнить Бога.

Но небо над Колумбийским университетом было пусто. И под пустым небом прозвучал призыв: без оглядки на небогатый Израиль устремиться — не к небу — к "новым рынкам сбыта и источникам сырья".

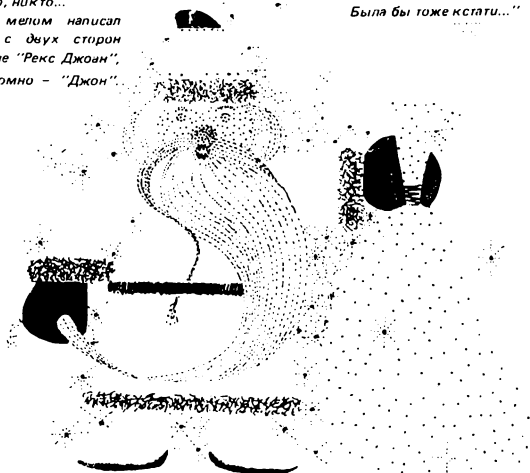
"Перед нами — Америка!"

Н. Рубинштейн — литературовед и эссеист, окончила филологический факультет Ленинградского института им. Герцена, в Израиле с 1974 г., многочисленные критические статьи опубликованы в журналах "Время и мы", "Сион", "22", "Синтаксис", "Грани", "Новый журнал" и др. изданиях.

"ДЕЛА КОРОЛЕВСКИЕ"

*У короля был скверный нрав,
И всем понятно, что
Ему подарки не дарил
Никто, никто, никто...
Письмо он мелом написал
На крыше с двух сторон
И подписал не "Рекс Джон",
А очень скромно — "Джон".*

*"Хотел бы я печенья,
И леденцов на мле,
И плитка шоколада
Была бы тоже кстати..."*



В издательстве "Москва-Иерусалим" выходит книга веселых стихов автора знаменитого "Винни-Пуха" А. Милна в переводе Нины Воронель с рисунками Марка Байера. Предварительная цена: в Израиле — 100 лир, за рубежом — 6 долларов. Заказы принимаются по адресу: "Москва-Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

"... Удовлетворена просьба о выходе из состава редколлегии Д. Сегала и Г. Келлерман"

(извещение в журнале "Время и мы", № 47)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

главному редактору журнала "Время и мы" Виктору Перельману

В последние месяцы облик Вашего журнала изменился. В 37-м номере, в тексте Вашего выступления в Колумбийском университете (Нью-Йорк), Вы заявили, в частности, что израильские бюрократы заняты прежде всего "любовой и неумной" сионистской пропагандой новопривывших из России с целью навязать им "сионистское сознание", давно отвергнутое большинством израильского общества. Вы заявили, что высшие ценности для журнала — это человек и его свобода, а посему журнал не приемлет никакого национализма и никакой идеологии.

Мы понимаем коммерческую мотивацию Вашего выступления, происходившего, видимо, перед советскими евреями, эмигрировавшими в Америку. Вам, для завоевания американского рынка, важно было дать моральное оправдание тем евреям, которые не поехали в Израиль. Но жажда коммерческого успеха — не оправдание для искажения истины. Вы отлично знаете, что ни сионистское, ни религиозное, ни какое-либо иное сознание никому в этой стране не навязывается. Вы также прекрасно знаете, что сионизм не является всеобъемлющей идеологией, что это всего лишь стремление обрести свой национальный очаг, которое вписывается в общий контекст национально-освободительных движений современности. Вы знаете, что есть сионисты-коммунисты и сионисты-либералы, сионисты верующие и сионисты светские — не стоит перечислять весь спектр идеологий израильского еврейского населения. Вы знаете и то, что народ Израиля не безразличен к идеалам свободы и справедливости. Как иначе объяснить, что за несколько дней население Израиля добровольно пожертвовало 18 миллионов лир в пользу голодающих детей Камбоджи? Как объяснить существование левых групп, мечтающих даже о создании палестинского государства, хотя это государство потенциально угрожало бы нашей собственной национальной безопасности?

Но, кажется, Вы уже и к израильтянам не причисляете себя. В 41-м номере Вы опубликовали Ваше второе выступление в Колумбийском уни-

Письмо публикуется по просьбе авторов, которым журнал "Время и мы" отказал в его публикации и, тем самым, разъяснении причин своего выхода из редколлегии.

верситете. Это выступление — настоящая апология Америки, а сопоставление двух Ваших американских выступлений проясняет Вашу позицию и, соответственно, позицию Вашего журнала: Америка — страна свободы и безграничных возможностей для эмигранта, а Израиль — идеологизированное (сионистское) бюрократическое государство, чуждое общечеловеческим идеалам.

Параллельно с занятием этой позиции Вы предприняли и практические шаги: в 37-м номере Вы объявили о создании американского отделения журнала, а теперь опубликовали заявление, что с января 1980 г. журнал начинает издаваться как международный, с тремя центрами — в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже.

Ни Ваши выступления от имени журнала, ни решение о создании американского отделения, ни решение об издании журнала в трех центрах не были согласованы с нами как с членами редколлегии журнала. О поступках, совершающихся как бы и от нашего имени, мы неизменно узнаем де-факто. В знак протеста против подобной ситуации и ввиду несовместимости наших взглядов с провозглашаемой Вами платформой журнала мы выходим из редколлегии журнала "Время и мы" и призываем других израильских членов редколлегии поступить так же. Мы полагаем, что аналогичные соображения уже побудили Йосефа Теква сделать этот шаг.

Просим опубликовать наше письмо в Вашем журнале.

*13 ноября 1979 г.
Иерусалим*

*Г. Келлерман
Д. Сегал*

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

29 сентября 1979 г. состоялась встреча группы эмигрантов из СССР, собравшихся в Вашингтоне в связи с проведением 3-й сессии Сахаровских слушаний. Встреча была продолжена в Нью-Йорке 3 октября 1979 г.

В ходе состоявшегося обмена мнениями все участники встречи согласились о следующем.

Принцип индивидуального морального противостояния действиям властей, систематически нарушающих права человека, играл и продолжает играть исключительную роль в развитии и укреплении правозащитного движения в СССР. Исходя из этого принципа, многие из участников правозащитного движения относились неодобрительно к идее создания какой-либо широкой организации.

Однако в совершенно ином положении находятся участники правозащитного движения, вынужденные эмигрировать из СССР, и лица, поддерживающие их деятельность. Для них, не находящихся в условиях непосредственного противостояния репрессивной власти, отказ от объединения и координации своей деятельности приводит лишь к распылению усилий, к снижению эффективности их действий. Сейчас, когда правозащитное движение в СССР стало важным фактором во внутреннем положении страны и полу-

чило международное признание, когда за пределами СССР находится большое число лиц, активно действующих или желающих действовать в направлении изменения нынешней ситуации с правами человека в СССР, какая-то координация их действий стала назревшей необходимостью. Участники встречи заявили о своей решимости работать в направлении создания объединения, способствующего такой координации.

Пока еще рано говорить о деталях устройства и функционирования намечаемого объединения. Они могут быть выработаны лишь в результате широкого обсуждения заинтересованными лицами. Однако уже сейчас было сочтено бесспорным, что важнейшей целью должно быть создание в СССР ситуации, при которой провозглашенные в Декларации ООН права человека были бы обеспечены в полном объеме без каких-либо ограничений или дискриминационных изъятий.

Участники встречи согласились также, что участие в предполагаемом объединении не должно никоим образом затрагивать обязательств, связанных с участием какого-либо лица в других, не столь широких политических, религиозных, национальных или иных объединениях. Максимальная терпимость и плюрализм должны быть основополагающим принципом создаваемого объединения. Наличие внутри правозащитного движения самых различных идейных группировок и направлений является его важнейшим историческим достижением и ни в коем случае не должно быть утрачено.

Участники встречи признали необходимым опубликовать настоящее сообщение и вынести на обсуждение вопрос о возможности создания и характере предполагаемого объединения.

Для практического осуществления такого обсуждения и проведения подготовительной работы участники встречи признали необходимым иметь трех координаторов для трех основных регионов:

Для Америки: Людмила Алексеева (Ludmilla Alexeyeva, 293 Benedict Avenue, Terrytown, N. Y., 10591, USA).

Для Европы: Кронид Любарский (Cronid Lubarsky, Wolfpratshausener Str. 68/III, 8000 Munchen 70, BRDeutschland).

Для Израиля: Эдуард Кузнецов (Edward Kuznetsov, 88/19, Machanaim Str., Tel-Aviv, Israel).

Координаторы не наделены иными полномочиями, кроме как поддержание деловой связи между лицами, желающими принять участие в совместных действиях, и взаимное согласование подготовительной работы, проводимой в разных регионах.

Все лица, независимо от их гражданства или иного юридического статуса, разделяющие сформулированные выше общие принципы и желающие конструктивно содействовать нашим усилиям, приглашаются принять участие в предварительном обсуждении вопроса и прислать свои соображения по одному из указанных адресов или выступить в печати.

Людмила Алексеева (Территаун, США)
Виктор Балашов (Вашингтон, США)
Борис Вайль (Копенгаген, Дания)

Михайло Михайлов (Нью-Йорк, США)
Юри Мньюх (Нью-Йорк, США)
Фридрих Незнанский (Нью-Йорк, США)

Людмила Вайль (Копенгаген, Дания)
Томас Венцлова (Лос-Анджелес, США)
Арии Вернер (Кольн, ФРГ)
Александр Гинзбург (Кавендиш, США)
Зинаида Григоренко (Нью-Йорк, США)
Петр Григоренко (Нью-Йорк, США)
Александр Есенин-Волгин (Бостон, США)
Юлия Закс (Джерси-Сити, США)
Дина Каминская (Вашингтон, США)
Марио Корти (Мюнхен, ФРГ)
Эдуард Кузнецов (Тель-Авив, Израиль)
Павел Литвинов (Терригаун, США)
Млия Литвинова (Терригаун, США)
Юрий Лурье (Виннипег, Канада)
Кронид Любарский (Мюнхен, ФРГ)
Владимир Максимов (Париж, Франция)

Эрнст Неизвестный (Нью-Йорк, США)
Мария Олсуфьева (Флоренция, Италия)
Игорь Померанцев (Ланштайн, ФРГ)
Мария Розанова (Париж, Франция)
Наталья Садо́мская (Нью-Йорк, США)
Галина Салова (Мюнхен, ФРГ)
Аише Сейтмуратова (Нью-Йорк, США)
Андрей Синявский (Париж, Франция)
Аркадий Зайферт (Майнц, ФРГ)
Константин Симис (Вашингтон, США)
Валентин Турчин (Нью-Йорк, США)
Борис Шрагин (Нью-Йорк, США)
Вероника Штеин (Джерси-Сити, США)
Юри Штеин (Джерси-Сити, США)
Лев Юдович (Гармиш-Партенкирхен, ФРГ)

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Адрес редакции и конторы: 217, r. du Fbg St-Honore, 75008-Paris France.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Повесть С. Островского "О Боливаре И. Пavidлове", первую посмертную публикацию рассказов Ан. Кузнецова, продолжение японских заметок И. Шамира, статьи А. Амальрика, А. Либина, Н. Коржавина, Ф. Розинера и др. материалы.

ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:

В. Богуславский, А. Воронель, Н. Воронель, Э. Кузнецов, Ю. Меклер, Р. Нудельман (гл. редактор), Н. Рубинштейн, Я. Цигельман (отв. секретарь), Л. Чаплина.

корректор: С. Бар-Ор
технический редактор: Н. Рубина
оформление: В. Богуславский
секретарь: М. Бар-Ор

Адрес редакции: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

"Двадцать два" — 1980 (№№ 11—16)

Давид Маркиш. Роман. **Аркадий Львов.** Повесть. **Анатолий Кузнецов.** Рассказы. **Владимир Соловьев.** Роман. **Людмила Штерн.** Рассказы. **Станислав Лем.** Фантастический роман. **Шмуэль-Иосиф Агнон.** Рассказы. **Хорхе-Луис Боргесс.** Рассказы. **Публицистика** А. Воронеля, М. Каганской, Н. Рубинштейн, Н. Воронель, А. Амальрика, А. Янова, И. Голомштока, Н. Коржавина, Д. Штурман, Ф. Горенштейна и др.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В Израиле: на 6 месяцев (3 номера) — 380 лир; на 12 месяцев (6 номеров) — 650 лир.

За рубежом (с доставкой обычной почтой): на 6 месяцев — 14 долларов (60 франков; 25 марок); на 12 месяцев — 24 доллара (100 франков; 43 марки); для организаций — 29 долларов.

С доставкой авиапочтой: на 6 месяцев — 22 доллара (92 франка; 39 марок); на 12 месяцев — 39 долларов (163 франка; 70 марок); для организаций — 44 доллара.

Чеки (можно на русском языке) выписать на имя "Фонд Москва—Иерусалим" (Foundation Moscow—Jerusalem) и направлять по адресу "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль (P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel) или в адрес одного из представителей журнала за рубежом.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

Europe — I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England

USA — A. Englin, 5510 97 Street, Corona, N. Y. 11368, USA

Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages,
Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA

L. Khotin, 16 Via Ladena, Monterey, Ca., 93940, USA

Прошу подписать меня на журнал "22"

с № по № Прилагаю чек на сумму

Журнал прошу высылать обычной/авиа почтой по адресу

фамилия

.

дом, улица

город, страна

Требуются №№ 1, 4, 5 журналов "22" за 1978—79 гг. Читателям, приславшим в редакцию любой из этих номеров, будет в обмен выслан любой из интересующих их новых номеров журнала.

